

[Polaris]

С. МИНЦЛОВ



АТЛАНТИДА

Собрание рассказов
Том I

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

CXXVII



Salamandra P.V.V.

**Сергей
МИНЦЛОВ**

АТЛАНТИДА

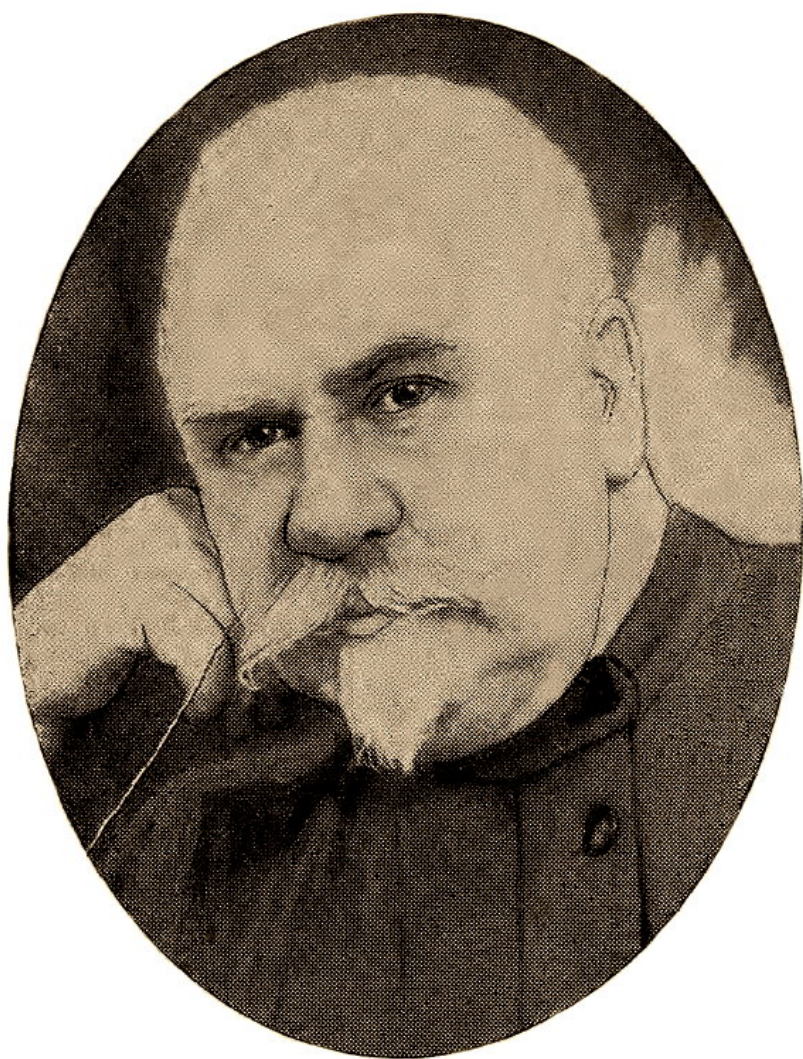
Собрание рассказов
Том I

Salamandra P.V.V.

Минцлов С. Р.

Атлантида (Собрание рассказов, т. I). – Б.м.: Salamandra P.V.V., 2016. – 152 с., илл. – (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. CXXVII).

В книгу вошли избранные фантастические и мистические рассказы выдающегося библиофила и библиографа, занимательного рассказчика и одаренного прозаика, журналиста и путешественника, археолога и коллекционера С. Р. Минцлова (1870-1933). Включены рассказы из сборников «Мистические вечера (Записки общества любителей осенней непогоды)», «То, чего мы не знаем...» и «У камелька». В приложениях – очерк «Власть имен», рецензия Б. С. Оречкина и статья видного критика П. М. Пильского, написанная к 40-летию юбилею литературной деятельности С. Р. Минцлова. Ряд включенных в книгу произведений переиздается впервые.



ТО, ЧЕГО МЫ НЕ ЗНАЕМ...

АТЛАНТИДА

Лет за пятнадцать до Великой войны судьба занесла меня на несколько дней в Москву.

Стоял знойный и пыльный июль; знакомые, как водится в эту пору, все поразъезжались, кто в имение, кто на дачу, между тем, свободного времени у меня имелось много и я уже с полудня начинал ломать голову, как и где скоротать дальнейший день.

Однажды меня осенило: я вспомнил, что в одной из частных психиатрических лечебниц служит мой приятель, человек редкой жизнерадостности, доктор Иволгин, которого я не видал лет десять, и я, помолодев от одной мысли об этом весельчаке, решил немедленно навестить его.

Лечебница находилась где то далеко, на Трех Горах, близ знаменитого пивоваренного завода, и занимала загородный дворец, принадлежавший когда-то графу Закревскому.

Я нанял извозчика, плохенького ваньку, и железные шины московских колес загремели по неровной булыжной мостовой. Не успел я опуститься на сиденье, как пришлось вскочить: я сел точно на раскаленную плиту; я перевернул кожаную подушку и тут только обратил внимание, что мой старичок-извозчик словно спеленат длиннейшим, сшитым на великана, рваным синим армяком из толстенного сукна, подбитым ватой; на голове его была нахлобучена теплая же шапка и из под нее выбивались взмокшие, мочального цвета волосы.

— Дед, да ведь ты испечешься?!... — воскликнул я.

— Благодать... ничего!... благодушно отозвался старик.

— Да ты бы что полегче надел?

— Нельзя этого, ваше благородие: хформа такая!... — убежденно возразил он.

Улицы делались все пустынее, на них стала показываться трава; вместо прохожих, начали попадаться разинувшие рты куры, спасавшиеся от жары под заборами; на нас

воззрилась рыжая корова, блаженно жевавшая жвачку середи улицы; она медленно повернулась и дала нам дорогу. Местность делалась все холмистее. Наконец мой извозчик вытянул вперед руку с кнутом и указал на белое каменное здание, глядевшее на нас с горы зеркальными окнами и окруженное обширным, густым садом.

— Эвоя дворец!... — проговорил он.

Ворота из узорочного железа были закрыты; из будки около них внимательно и зорко глядел на меня единственным своим глазом кривой и рослый, мрачного вида, сторож.

Пролетка остановилась.

— Доктор Иволгин здесь? — спросил я, сходя с нее.

— Здесь... пожалуйста!... — ответил сторож и отпер и распахнул передо мной калитку. — Там у швейцара спросите!

По усыпанной красным песком дорожке я поднялся еще немного в гору; в дом, словно в собор, вели широкие и длинные мраморные ступени.

У дверей меня встретил ливрейный швейцар и на вопрос об Иволгине сообщил, что он сейчас занят с директором, но скоро освободится, и предложил подождать в приемной.

— А в саду нельзя посидеть? — спросил я.

— Отчего же, пожалуйста-с! Как выйдут — я им доложу-с!

Я оставил ему свою карточку, а сам спустился со ступеней, пересек небольшую площадку и очутился под зеленым навесом столетней липы; дальше шла совершенно пустынная аллея из них. Неподалеку от меня, на чугунной, старинной скамье, откинув руку на спинку ее, в чесучовом костюме сидел небольшой старичок с тщательно выбритым лицом; рядом с ним, на скамье, лежала легкая тросточка и поверх нее соломенная шляпа. Из-за золотых очков глядели сильно увеличенные ими серые глаза.

— Разрешите присесть около вас?... — сказал я, приподняв шляпу.

— А сделайте одолжение... — любезно ответил старичок и принял свои вещи. — Навестить кого-нибудь из больных приехали?

— Доктора одного повидать мне надо.... Иволгина...

— А!.. и я его жду!... — старичок улыбнулся и желтоватое лицо и глаза сделались чрезвычайно приветливыми.

— Вы, кажется, нездешний?

— Да, я из Петербурга.

Я снял шляпу и отрекомендовался. Старик встал.

— Профессор N... — произнес он, — очень рад познакомиться.

Фамилия, названная им, была из известных.

— Что у вас нового?... — заговорил он, садясь вместе со мною на скамью. — Что еще про Атлантиду пишут?

Надо напомнить, что в то время в газетах промелькнули две-три заметки об этом загадочном материке.

— Да в сущности, ничего — одни общие места и гаданья!... — ответил я. — Быть может, и не было никогда такого!...

— Напрасно так думаете! — возразил профессор: — о существовании его мы имеем свидетельства древних. Да и культура доисторического населения центральной Америки указывает, что между нею и Африкой был когда-то переброшен мост из материка.

— Но ведь провал такой громады должен был повлечь за собой величайшие катастрофы, между тем, мы их не видим!

— Т. е., не хотите видеть?... — поправил мой собеседник. — А они есть и даже чрезвычайные. Мы знаем, что в глубокой древности равновесие земли было чем-то нарушено и по сей день происходит медленный, но неизменный наклон земной оси. Это открыли нам древнейшие из пирамид — в них делали отверстие, сквозь которые гробницы фараонов должны были в свое время освещаться Полярной звездой; теперь она уже далеко в стороне и на саркофаги смотрят совершенно другие звезды! Затем: вся северная часть Африки, Сахара, без всякого сомнения, была дном моря — этого вы не отрицаете? Куда же могла деваться вся масса воды его? Исчезнуть, как дым, она не могла!

— Разумеется!... — подтвердил я.

— Стало быть, вывод допустим лишь один: под материком Атлантиды имелись неизмеримейшие пустоты. Что же должно было произойти, когда материк рухнул в них? Среди океана вдруг разверзлась чудовищная пропасть: воды ринулись в нее со всех сторон. Естественно, должна была обнажиться Сахара, обмелеть Средиземное море, появиться острова... так мы все наблюдаем и в действительности! Произошло новое мироздание... вы представляете себе эту картину?

Профессор воодушевился и слегка взмахивал руками, глаза его разгорелись.

— Что же должно было повлечь за собой перемещение к югу триллиона триллионов тонн воды? — продолжал он. — Ясно — резкий наклон к югу же земной оси; в силу перегрузки и нарушения равновесия он медленно продолжается и по сей час. От этого мелеет Балтийское море и уменьшается количество вод в Северном полушарии; отсюда изменение климатов. Гибель Атлантиды возродила Европу: она оборвала ледниковый период в ней, дала ей «толчок расцвета».

— И вы допускаете, что человечество видело эту катастрофу? — усомнился я.

— А несомненно-с! — ответил профессор: — человек не только жил в ледниковый период, но даже у нас, в дикой Европе, вырезывал уже на бивнях мамонта сцены охоты за ним.

— И вы полагаете, что население Атлантиды было так же культурно, ну, скажем. как египтяне?

— Выше... куда выше!!! Оно было просвещеннее нас! Мир переживает Бог весть какую по счету эру расцвета!

— Да может ли это быть? Ведь кругом же глубочайший каменный век был, всюду одни дикари, полу-орангутанги жили?

— А Китай? — возразил профессор: — разве он тысячи лет не находился в точно таких же условиях? Культура древней Греции, которой так гордится Европа, — из семян Атлантиды! Представляете себе это зрелище... — с большим подъемом добавил он и откинул назад голову, как бы уви-

дав что то сквозь густую зелень листвы. — Голубое небо и по нему летит вереница серебряных кораблей с последними атлантидцами?

Он вдруг поразил меня необыкновенным сходством с ожившим и важным фарфоровым китайцем.

— Корабли? почему же по воздуху?.. — удивился я.

— Да, у них были не наши жалкие аэропланы и дирижабли, а настоящие воздушные корабли! Повторяю, атлантидцы знали больше нашего! А на кораблях группы людей, — среди них — Зевс, величайший художник — Аполлон, первейшие красавицы — Венера и Диана, весь цвет ума и таланта...

— Вы поэт!!!... — сказал я. — Картинка для фантастического романа действительно прекрасная!

Профессор покачал головой.

— Не фантазия это!... — задумчиво проронил он: — фантазия всегда позади действительности!...

Со стороны дома появился торопливо шедший, полный и плечистый господин в белом фланелевом костюме, и я узнал в нем своего приятеля. Панама его была сдвинута почти на затылок, маленькую темную бородку, как пробор, рассекала по- середине полоска седины.

Увидав меня, Иволгин протянул вперед обе руки.

— Вот он?!... Здорово, дружище!!.. — воскликнул он, подходя к нам и вглядываясь в меня карими глазами. На профессора он не обратил ровно никакого внимания.

— Отцы мои, да какой же мы чемодан приобрели?!... — добавил он, погладив меня по животу и садясь между нами.

— Да и вы ничего себе... тоже по всем трем измерениям вспухли!.. — ответил я.

— Да, да!! погрузнел, отяжелел!.. — улыбаясь, согласился Иволгин: — что поделаешь, «и хором бабушки твердят — как наши годы-то летят»?..

Начались обычные расспросы. Во время них я убедился, что полнота Иволгина была нездоровой; на лице его лежал бурый оттенок, оживившиеся ненадолго глаза утратили блеск и закрылись усталыми.

— Да вы здоровы ли? — спросил я.

— Как бык!.. — был ответ. — Заработался немного...

— Верно! — подтвердил профессор: — пересаливаете, мой друг!..

— А над чем вы работаете?

— Мы с профессором вместе трудимся... в области спиритуалистики!

Я изумился. Этот завзятый естествоиспытатель и здоровяк был так далек всегда от всего туманного и фантастического!

— Вот так история?!.. — проговорил я: — да вы не столы ли уж вертите?

— И столы вертим!.. — подтвердил он, — а вы чему удивляетесь? «Многое есть на свете, друг Горацио» и пр.!

— Что же вас в этом деле интересует? Чего вы достигли?

— Интересует неведомое. А достигли многого: сейчас мы ведем очень важные переговоры с Зевсом.

— С кем?! — с изумлением спросил я. Мне показалось, что приятель шутит или с ума сошел, но нет — выражение его лица, также как и его соседа, было вполне нормальное и серьезное.

Я легонько дернул его за рукав.

— Почтеннейший, а у вас здесь все благополучно?.. — вполголоса осведомился я и показал пальцем себе на лоб.

Иволгин и профессор посмотрели друг на друга и улыбнулись.

— Видите... — обратился к нему профессор: — таков вообще суд общества — что непонятно, то и ненормально!...

— Вполне хорошо, дорогой мой!.. — ответил мне Иволгин. — Я должен вам прижаться, что пятнадцать лет наблюдений за душевнобольными убедили меня, что еще неизвестно, кто более ненормален — они или мы, здоровые!

— То есть?

— Да то, что весь мир, каждая вещь в нем в действительности вовсе не то, за что мы их принимаем! Вот хотя бы небо — голубое ведь оно, а на деле никакой голубизны там нет и междупланетные просторы черны, как сажа в трубе! Если мы с вами не больны, видя «голубое» небо, то почему же считать больными тех, кто видит его черным? Это

не признак болезни, а просто, как и все «галлюцинации», есть результат большей восприимчивости или чуткости человеческого аппарата. Скажу образней: мы, здоровые, — это люди, идущие в густом тумане по узкому гребню высокой стены. Мы не видим сквозь него ничего, а только подозреваем. А для других завеса кое-где распахивается... это, по нашему, сумасшедшие!

— Но что же сообщил вам Зевс, это даже интересно?

— А это уж по его части! — Иволгин указал рукой на профессора. — Константин Борисович, расскажите!..

Старик положил руки себе на колени и подался всем телом вперед.

— Последние годы Атлантиды были ужасны!... — начал он тем тоном, которым обыкновенно профессора начинают свои лекции. — Население страны выросло чрезвычайно, экономический кризис был жесточайший, но решительно никто, за самыми ничтожными исключениями, не желал переселиться в дикую, одетую льдами, негостеприимную Европу или в Африку, полную страшнейшими животными. Жизнь сделалась невыносимой; ослепленный злобой пролетариат вступил в яростную борьбу с культурой, с интеллигенцией, с капиталом и опрокинул их. На всей материке начались резня, пожары, грабежи; избивались старики и дети, огнем и мечом уничтожалось все, что было создано трудами и знанием тысячелетий....

Зевс был величайший инженер Атлантиды. Группа лучших и талантливейших людей сомкнулась вокруг него для последней борьбы и шаг за шагом, электрическими ружьями и убивающими лучами, отстаивала дворец его, но разъяренная стихия одолевала: враги проникли в подвалы и собирались взорвать здание. На плоской крыше его в полной готовности стояли три воздушные серебряные корабли, и Зевс дал сигнал отступать и садиться в них.

Зевс в числе немногих знал тайну о пустотах под материком и знал, что дни Атлантиды сочтены: об этом предупреждали его все учащавшиеся случаи страшных землетрясений. Где было возможно, он возводил под землей чудовищные устои, но, предвидя исход борьбы с одичалой

толпой, он бросил работы и минировал главнейшие, державшие своды скалы. И когда сверкающие корабли взмыли высоко в небо — под звериный рев и вой исступленной толпы, плясавшей на картинах наилучших художников и драгоценностях и святынях дворцов и храмов, Зевс нажал кнопку и гул сотряс небо и землю. Здания, церкви, башни — все двинулось друг на друга, все слилось в вопль и крушение и стало проваливаться. Гигантский зелено-черный вал в версту вышиной вздыбился на океане и рухнул в разверстую пропасть, еще кишевшую людьми и падающими зданиями. Все захлестнулось водой... громадные, белоголовые волны одни на всем синем просторе остались памятниками над великой Атлантидой!... Серебряные трубы опять пропели в выси неба и воздушная эскадра понеслась к Европе. А навстречу ей беспредельной желтой пеленой уже вставала из бирюзовых вод Сахара... Дикари в звериных шкурах на плечах подымали вверх головы и падали перед невиданным зрелищем!... Так появились первые боги в Европе. Высоко в неприступных скалах Зевс возвел дворец для себя и оттуда, и там правил миром и забавлялся с друзьями!

Профессор умолк и вздохнул.

— Какая картина... воистину Зевсов размах!!.. — произнес я, охваченный сильным впечатлением от рассказа профессора.

— То-то, друже!.. — сказал Иволгин и прикоснулся ладонью к моему колену. — Нет чудес — и все чудо на свете!

Мы побеседовали еще с полчаса и я начал прощаться.

— А мы вас проводим!.. — сказал профессор, и мы все втроем направились к воротам.

— Рад, что удалось повидать вас и вас, профессор!.. — обратился я к своим спутникам. — Давно я не проводил так интересно время, как сегодня с вами!

Профессор слегка поклонился.

— И я рад!.. — отозвался мой приятель: — точно свежим воздухом на меня потянуло!

У калитки оба они любезно пропустили меня вперед; кривой сторож зазвякал ключами и отпер ее. Я вышел на

улицу к поджидавшему меня извозчику.

— Нельзя-с!... — услышал я за своей спиной голос сторожа: — назад пожалуйста!...

Я оглянулся. Оба мои спутника стояли по ту сторону решетки; калитка была захлопнута и сторож замыкал ее.

— Циклоп Полифем!!... — произнес сквозь зубы мой приятель. Он взялся за решетку и потряс ее.

— Оставьте!... — повелительно сказал профессор и снял волосатую, сильную руку Иволгина с прутьев калитки. — Скоро мы улетим отсюда на корабле... До скорого свиданья!!...

Они повернулись и пошли к дому; Иволгин, показалось мне, сразу осунулся и сгорбился; профессор выступал величественно.

— Что это значит? — с негодованием обратился я к привратнику: — отчего вы не выпустили этих господ?

Единственный глаз сторожа в свою очередь удивленно уставился на меня.

— Да ведь они же сумасшедшие, сударь!.. — ответил он.

— Как так?!.. — чуть не вскрикнул я.

Шедшие, должно быть, услышали мой возглас и оглянулись; лицо Иволгина было неузнаваемо — озлобленное и настороженное; профессор презрительно повел в нашу сторону носом. Чтобы им видно меня не было, я скрылся за будкой.

— Господин Иволгин вот уже третий год как из докторов в больные перешли... — продолжал привратник: — все души померших вызывает!

— Отчего же это с ним случилось?!

Сторож пожал плечами.

— А кто ж может это знать? Сказывают люди — от любви, будто, попритчилось?!

— От какой любви?!

— Да глупость обыкновенная... У профессора дочка, что ли, была, не то племянница, так вот к ей... Антонидой какой-то ее звали. Провалилась она где то, вот и повредились оба!.. По нашим временам долго ли?!

ПОСЛЕДНИЕ БОГИ

Ночь нас застала в горах высоко над Дельфами.

Мы, трое археологов, исследовали пещеры, во множестве находящиеся в диком хребте Парнаса. Возвращаться в сумерках по карнизам над пропастями было опасно и мы решили заночевать в ближайшем гроте.

Пока рабочие собирали сучья и разводили огонь, мы присели на краю обрыва отдохнуть и полюбоваться миром, расстилавшимся у наших ног.

Дельфы лежали далеко внизу на желтых, ниспадавших уступах горы; там производились раскопки храма Аполлона и приметны были червячки — люди, уже закончившие работы, но еще копошившиеся между остатками колонн и стен. В жалких лачужках крошечного селения Кастри, приютившегося на краешке одной из террас, зажигались огни. Позади нас, как волны в бурю на море, без конца и без счета вздымались отвесные горы с обнаженными вершинами: Парнас — хаос известковых гор с обнаженными серебристыми вершинами, изрезанный пропастями и ущельями; все их заполняет лес, косматый и мрачный; вечная ночь стоит под его вековыми елями, густыми орехами и лаврами. Шум их и шум потоков — вот и все, что слышит там ухо. Изредка, впрочем, с грохотом срывается со скал камень и стопудовым мячом прыгает по откосам, с треском сокрушая все на пути своем.

Человека там нет и следа. Человек ушел вправо, вдаль от грозных суровых скал, в сплошное дымно-зеленое море оливковых рощ, сбегających к лазурной бухте Коринфского залива, окаймленной красно-лиловыми утесами.

Когда-то здесь, в нынешнем царстве мертвых, ключом кипела жизнь; на ярусах горы, где уныло торчат теперь изъеденные временем бурые остатки стен, раскидывался знаменитейший в мире город Пифийского Аполлона.

О необъятных богатствах его свидетельствуют, начиная с Гомера, все современники; красноречивее их говорит за-

пись о грабеже фокидцев, разбойнически захвативших храм; они вывезли из него золотых и серебряных вещей на десять тысяч талантов, т. е. почти на сто миллионов рублей.

В храме висело, между прочим, и ожерелье прекрасной Елены, виновницы Троянской войны.

Чтобы судить о древности храма, напомним, что только перестроен он был в половине шестого века до Р. Х.

Все города соперничали в чести ставить в Дельфах мраморные изображения своих выдающихся людей: философы, победители на олимпиадах, полководцы, все талантливое и все события увековечивались в мраморе на этом всеэллинском Пантеоне.

Многие статуи покрывались золотом. Аллеи их и дымящихся золотых и серебряных жертвенников окаймляли все террасы, высились на каждой свободной пяди земли. Плиний, посетивший Дельфы после грабежа Нерона, увезшего пятьсот статуй, насчитал их три тысячи; Павзаний — путешественник второго века по Р. Х., называет город сплошным скульптурным музеем. Знаменитейшие художники древности — Андросфен, Пракситель и Фидий — отделывали и украшали храм, театр и другие здания города любимейшего в Греции солнечного бога.

Не было кругом ни одного уголка земли, из которого не смотрела бы седая легенда!

Две исполинские скалы, почти касавшиеся друг друга вершинами у ног наших — были братья Федриады. Там, в узкой трещине между ними, гнезвился когда-то страшный Пифон-змей, убитый Аполлоном; из-под них выбивается и впадает в пропасть Кастальский ручей — превращенная в ключ красавица-нимфа Касталия.

Источник Мнемозины, река забвения Лета, исчезающая под землей, пещера Трофония, Херонейское поле и т. д. — все это, кутаясь в сумерки, лежало ниже нас в окрестностях Дельф.

Было чего замечтаться, лежа над пропастью.

— А к нам кто-то на огонек идет! — проговорил один из товарищей.

Я оглянулся: путник, пробирающийся со стороны Пар-

наса, да еще в такое позднее время — явление необычайное!

По узкой тропинке подымался высокий грек в белой фустанелле и феске.

Подойдя к нам, приложил руку ко лбу и к груди и сел на выступ скалы неподалеку от меня.

Бритое, как у актера, сухое и морщинистое лицо незнакомца резко шло вразрез с одеждой его и напоминало скорее голландца или финна. На небольшом, прямом носу его были надеты сильные очки, делавшие преувеличенно-большими серые глаза. Он снял феску и под ней оказались седые, коротко остриженные волосы.

— Вы французы, господа? — обратился он к нам на безукоризненном языке Парижа.

Мы сказали, кто мы.

Старик как бы несколько удивился и обрадовался.

— Русские большая редкость в здешних краях! — проговорил он. — Внизу в Дельфах работают французы и я думал, что и вы из них. Вы тоже археологи?

Я сообщил ему все, что его интересовало и в свою очередь спросил о его имени и национальности.

— О! — неопределенно произнес незнакомец: — я так давно живу здесь, что уже начинаю забывать, кто я и откуда! Меня зовут здесь Аггиос!

Старший рабочий принес эмалированный чайник с кипятком, чашки и коробки с консервами.

Увидев гостя, он чуть было не выронил из рук все принесенное, затем низко поклонился ему.

Незнакомец кивнул в ответ головой.

На плоском, большом камне устроился импровизированный стол; мы пригласили гостя разделить с нами трапезу и расположились ужинать.

— Вы, вероятно, заблудились в горах; где вы живете? — обратился к старику один из моих товарищей.

Он улыбнулся.

— Нет, — ответил он: — заблудиться я не могу!...

— Какая чудная ночь! — добавил он, помолчав.

Действительно, ночь уже окутала землю; Дельф видно не было; где-то в глубине черной бездны, как светляки, мер-

цали огоньки деревеньки. На синем бархате неба все ярче и ярче разгорались крупные алмазы звезд. Шум Кастальского ручья доносился из пропасти явственной.

— Волшебная сказка! — проронил мой товарищ: — я понимаю, почему здесь так разыгрывалась фантазия у древних...

— Фантазия? — переспросил наш гость и медленно покачал головой. — Ей вообще очень мало места на земле: она только отзвук давным-давно забытого минувшего! Человечество не в силах создать что-либо невиданное или неслыханное им: оно может только разукрасить его!

— Значит, китайские драконы или наши Змеи-Горынычи тоже были в прошлом?

— Несомненно! — с глубокой уверенностью ответил старик. — А летающие птеродактили, а всякие бронтозавры и плезиозавры — разве не ясно, что именно их видело на заре своей человечество?

— Это не доказано!

— Доказано больше, чем надо: существованием легенд.

— Дыма без огня не бывает! — добавил второй мой спутник, молча ужинавший и затем закуливший сигару.

— Ну, господа, на таких основаниях можно Бог вести куда зайти, — заволновался начавший спор со стариком. — Тогда, значит, можно утверждать, что и здесь, — он указал рукой на Парнас и Дельфы, — действительно жили и гуляли между людьми боги?

— Так оно и было! — подтвердил старик.

На секунду-другую воцарилось молчание.

— Это вы уж слишком... — проговорил опешивший товарищ.

— Что вы называете богом? — продолжал Аггиос. — Для собаки бог — всякое двуногое существо, для дикаря — всякий белый, держащий ружье в руках. Боги древности — это только остатки высокоцивилизованных племен, доживавшие свои дни среди дикарей...

— Как же могла случиться такая невероятность?!

— Это закон истории, а не невероятность, — спокойно ответил Аггиос. — Культура и знание всегда сосредотачи-

ваются в конце концов в замкнутой кучке людей, а вся остальная масса опять опускается, до каменного века включительно. Жизнь мира — это мертвая зыбь океана: подъем до зенита культуры и падение во мрак и дикость. Великих ученых сменяют пастухи, шелк и бархат — звериные шкуры. Вспомните историю Греции, Египта, Ассирии, Вавилона, обоих материков Америки! Каждая пядь земли пережила все то же не раз!

— Да, но ведь Греция возникла на самой заре человечества и наука не знает ее предшественников.

— Наука много еще чего не знает! — возразил Аггиос. — Это слепой, идущий на чей то далекий зов. Земной шар насчитывает за собой миллионы миллионов лет, испытал тысячи переворотов. Нам известно лишь кое-что, песчинка того, что было лет тысяч пять назад — и только. Смешно подумать, что мир кончается там, дальше чего не хватает наш глаз!

— Сохранились бы остатки какие-нибудь от тех времен: строения, вещи, но их нет!

Старик опять покачал головой.

— Есть предел жизни и камня, и металла. Вечно только одно: слово. И имеющие уши слышать — слышат его: это мифы и легенды неведомых нам веков.

— Все это красиво, но не доказано! — повторил мой товарищ. — Я верю только в то, что так же установлено, как дважды два четыре!

Старик наклонил голову.

— Прекрасное правило!... — серьезно добавил он.

Наступило молчание.

— Однако, господа, пора бы подумать и о ночлеге! — заявил второй мой спутник, видимо, относившийся к беседе с незнакомцем, как к гастрономической приправе ужина.

Он встал и бросил в пропасть окурок сигары.

Поднялись и все остальные.

— Вы с нами, надеюсь, заночуете? — обратился я к Аггиосу.

— Пожалуй... — произнес тот.

Мы подошли к узкому входу в пещеру, перед которой

горел костер; около него лежали и грелись рабочие; становилось довольно свежо.

Пещера имела вид длинной и низкой комнаты; у стены уже были расстелены наши походные войлоки.

— Вам будет здесь плохо! — заметил Аггиос, мельком глянув вокруг.

— Почему? — спросил я.

— Замерзнете: вспомните, на какой высоте мы находимся!

— Что же делать, на дворе будет еще хуже.

— Зачем же спать на воздухе? Надо спуститься ниже, здесь есть следующий этаж!

Станный гость наш уверенно пошел вперед; я зажег электрический фонарь и, действительно, в глубине пещеры оказался за выступом узкий проход, довольно круто спускавшийся куда-то в непроглядный мрак.

Товарищи мои — боясь духоты и змей — переменить место ночлега не пожелали и я решил остаться с ними.

— Тогда простимся, господа: я завтра уйду до света! — обратился к нам Аггиос.

Мы потрясли его сухую руку и он исчез, словно вошел прямо в стену.

— Странная личность!.. — проворчал споривший с ним мой спутник, укладываясь на свой войлок.

— Друг мой, все мы в семьдесят лет будем странными! — философски заметил другой, закутываясь в одеяло.

Я подозвал старшего рабочего и спросил, кто такой Аггиос.

Грек покосился на дальний конец пещеры.

— Там никого нет! — заметил я.

— Как, а где же господин? — с удивлением спросил грек.

— Никто не выходил отсюда!..

Я пояснил, в чем дело.

— Не знаю, как вам сказать... — вполголоса проговорил рабочий: — мне сорок лет, а мой дед и прадед знали господина все таким же старым.

— Что вы говорите?! — воскликнул я: — это невозможно!..

Грек пожал плечами.

— Так говорят все франки и инглезы... И все-таки слова мои — правда.

— Где он живет? Что делает?

— Живет в горах. Его редко видят люди...

— Кто же он такой? Как его имя?

Грек опять поднял плечи.

— Кто может знать? — ответил он. — Говорят, он один из богов наших предков...

Я махнул рукой и отправился на свое место.

Скоро мы заснули.

Жестокий холод разбудил меня. Стояла глубокая ночь; в пещеру глядела узкая полоска звездного неба; костер почти угас и последние вспышки дотлевавших ветвей нет-нет и освещали на миг красноватым светом неподвижные фигуры моих спутников. Я стал пробовать съеживаться, укрывался с головой — ничего не помогало; наконец, сделалось невмоготу. Я сбросил одеяло, захватил под мышку постель, зажег фонарь и отправился по следам Аггиоса.

Спать мне хотелось невыносимо, дневная усталость сказывалась в полном бессилии, овладевшем мной; не разбирая неровностей спуска, натываясь на выступы скал, забыв о всяких змеях, я, шатаясь, прошел саженой двадцать и очутился в высоком, напоминавшем часовню гроте. Среди него имелось что-то вроде возвышения. Охватила живительная теплота.

Почти бессознательно, кое-как устроил я себе ложе на возвышении, повалился лицом в подушку и сейчас же погрузился в каменный сон.

Что-то холодное, отвратительное скользнуло по моему лицу; я отмахнулся рукой и поднялся. Не было видно ни зги. Выхватить из кармана фонарь и нажать кнопку было делом одной минуты.

Свет небольшим кружком упал на мою подушку; я провёл им по бурым камням, затем по углам грота: ни змеи,

ничего живого нигде не было. Стояла неизъяснимая тишина.

Обводя светом стенку слева от себя, я заметил узкую трещину около сажени вышиною. Луч фонаря скользнул в ее черную глубину, смутно обрисовал обширную пещеру и вдруг наткнулся на что то белое; я распознал человеческую фигуру, сидевшую на полу.

— Я знал, что вы придете! — проговорил голос Аггиоса. — Идите же сюда, здесь лучше!

Я собрал свое имущество и протиснулся в соседний грот.

Только что я переступил в него, ступни ног моих сразу утонули в чем-то мягком, как пыль.

Я устроился шагах в двух от старика и лег.

— Как мягко! — заметил я.

— Немудрено: в этой пещере много столетий подряд погребали мертвых. Попробуйте рукой землю: мы лежим на прахе тысяч людей; толщина его здесь аршина два.

— И черепа тут есть? — спросил я, в надежде получить благоприятный ответ.

Черепа — моя слабость; краниология, это компас историка.

— Нет! — слышалось в темноте: — все давно перетлело!

— А хотели бы вы воочию повидать прошлое? — спросил, помолчав, мой собеседник.

— Еще бы, — ответил я.

— Тогда идемте...

Что то щелкнуло, и яркий белый свет наполнил пещеру. Я зажмурился, ослепленный им.

Когда я открыл глаза, Аггиос стоял, держа за дужку необыкновенный фонарик, похожий на ослепительное яблоко из горевшего, но не сгоравшего магния.

Мы находилась в огромной пещере; высоко над нами висел неровный свод; тремя черными зевами глядели с разных сторон отверстия неведомых ходов. Аггиос, неся лучезарный фонарь, вошел в один из них и мы начали спускаться по бесконечной извилине; несколько раз мы попа-

дали в пещеры большие и маленькие; Аггиос шел, не останавливаясь.

Кто бывал под землей, тот знает, как причудлив и страшен подземный мир. В нем нет ничего напоминающего, хотя бы по формам, поверхность земли. Ее творила разумная, светлая сила; недра земли создал безумный гений. Там все навыворот, все неожиданность и невероятность, все извилисто, скручено и неожиданно, начиная с колонн из сталактита и кончая храмами со свисающими со сводов их целыми скалами: всюду причуды и хаос. Именно там, в глубоком мраке, могли зародиться страшные чудовища древнейших эпох!

Сон отлетел бесследно.

Никогда, пользуясь простым магнетизмом, мне не приходилось видеть в таких мельчайших подробностях тайны земли! Я жадно озираясь, стараясь запечатлеть в памяти все подробности необыкновенного пути.

Легкий запах какого-то газа ощущался в воздухе; он делался все сильнее и затем вдруг повеяло свежестью.

Аггиос повернулся ко мне.

— Сейчас придем! — проговорил он: — я погашу фонарь, держитесь за меня.

Раздался слабый треск, и все разом поглотил мрак.

В глазах у меня завертелись зеленые круги; мы постояли с минуту и тронулись дальше.

Воздух становился все свежее; на меня вдруг глянуло синее небо; впереди смутно очертилась небольшая, залитая лунным светом площадка; мы вышли из пещеры и остановились над темной пропастью.

— Как здесь хорошо... — начал я и слова замерли у меня в горле.

Справа, в трех-четырех десятках шагов от меня, вздымался величавый, белый дворец. Из многочисленных громадных окон его лился свет и не месяц, а он, озарял нашу площадку.

Мы стояли перед мраморными длинными ступенями лестницы, ведущей на широкую террасу; за колоннадой ее, за убранными цветами столами возлежали и пировали

люди. Звучала струнная музыка, прерываемая веселыми кликами: шла оргия, настоящая оргия древности!

Мне сразу бросился в глаза атлетически сложенный красавец-старик с румяным лицом, весь в серебряных волнах гривы кудрей и головы. Он что-то нашептывал слушавшей его с лукавой улыбкой собеседнице, а близ них, за колонной — вся напряжение и внимание — стояла полногрудая, статная женщина со сдвинутыми черными бровями и слушала их беседу.

— Зевс и его жена! — прошептал Аггиос.

Но я уже сам узнал богов: захмелевший, мрачный, чернобородый Вулкан спорил с могучим, спокойным Марсом; белую, как пена морская, Венеру и веноч хохотавших, опьяненных богинь вокруг нее потешал краснорожий Вахх, сидевший на столе.

На ступенях террасы виден был погруженный в думы, грустный, белокурый Аполлон, перебиравший струны лиры.

Через минуту-другую я увидел, что боги постарели. Они выглядели не стариками, но что-то изжитое и усталое было в их лицах.

Ниже, не смея коснуться ступеней дворца, сидели и лежали, слушая печальные, звавшие и будившие душу звуки, тесные кучки всклокоченных людей. На голых телах их были накинута звериные шкуры.

Сноп огней и ракет взвился над дворцом и люди в шкурах попадали на колени, молитвенно простирая руки к пиравшим. Несколько вечных юношей сбежали вниз, рассыпались среди почтительно склонившейся толпы, схватили за руки девушек и исчезли в них в саду.

— Эвое! Эвое! — раздалось то здесь, то там из темных куц его.

Ракеты опять осветили погруженную во тьму гору за дворцом и я успел рассмотреть, что то, что казалось мне скалами — громадный город, но безмолвный, давно безлюдный и разрушавшийся...

— Там все мертво! — проронил Аггиос, указывая на город. — Последние боги... Последние дни их!...

Мимо пирующих, словно не видя никого, слегка закинув назад гордую голову, с презрением на лице, прошла легкой поступью богиня Диана. На своре она держала двух великолепных охотничьих собак.

И вдруг одна из них ошетибилась, уставила на меня вспыхнувшие фосфором зрачки свои и завывала. Бешено залаяла, бросаясь на дыбы, и вторая. Строгое лицо Дианы повернулось в мою сторону; не сводя с меня цепящего взгляда, она медленно стала отстегивать собак.

— Бегите скорей! За мной! — крикнул сдавленным голосом Аггиос и, схватив меня за руку, повлек к пещере.

— Изменник здесь! — раздался позади нас возглас.

— Измена! — шумно пронеслось среди пировавших.

За нами слышался яростный лай. Аггиос на бегу зажег фонарь и мы помчались, прыгая через камни, ямы, ударяясь смаху на поворотах всем телом о стены. Собаки заливались все ближе и ближе...

Вдруг Аггиос поскользнулся и рухнул, взмахнув руками, на осыпь скалы. Свет потух.

— Бегите! — прохрипел Аггиос: — все прямо здесь.

Не помня себя, задыхаясь от бега, я шархнул вперед, но почти тотчас уже ударился о стену; кинулся в другую сторону и руки мои опять охватили глыбы земли.

Собаки настигли уже Аггиоса и рвали его.

Я хотел закричать — и не мог, не было голоса.

— Смерть! — пронеслось в голове моей.

В ту же секунду в ногу мою вцепились зубы пса. Я ударил его ногой и... проснулся.

Брезжило утро; мутно-серое небо глядело в пещеру. Товарищи и рабочие спали.

Я сел, крепко прижимая рукой колотившееся сердце и озираясь, не понимая, в чем дело.

Значит, все, что произошло сейчас, я видел во сне? но ведь я лег спать в нижней пещере, как же я очутился в верхней?!

Я быстро вскочил и вышел наружу, силясь разгадать происшедшее.

На меня глянули знакомые, отвесные скалы Парнаса; у верхушки одной из них, приткнувшись, стояло заночевавшее облачко; на дне пропасти дымился туман. У входа в пещеру и на середине тропки, ведущей вниз, алели свежие следы крови.

Я тронул за плечо старшего рабочего. Он откинул с заспанного лица одеяло и приподнялся.

— Здесь кровь около вас! — сказал я: — что такое случилось?

— Это кровь господина, — проговорил грек, глянув на пятна. — Он поранил себе ногу и только что ушел отсюда. Господин приказал передать вам, что все кончилось благополучно и чтобы вы не беспокоились.

ТАЙНА СТЕН

В один из сумеречных петроградских дней, когда каждая квартира кажется подземной пещерой, а обитатели их — троглодитами, блуждающими впотьмах, я сидел в своем кабинете и при свете лампы измерял черепа, привезенные мною из последнего путешествия.

Черепы были интереснейшие, относившееся к эпохе, никак не позднейшей V или VI века до Р. Х.

Раздавшийся звонок, а затем появление в дверях какого-то невысокого и порядочно растрепанного господина в очках, отвлекли меня от моего занятия.

— Извините... здравствуйте!.. — проговорил он, протягивая мне неестественно высоко протянутую ладонь с растопыренными пальцами.

— Очень рад! — добавил он, усердно трясая мою руку.

— Чем могу служить? — спросил я, пригласив гостя сесть и вглядываясь в его, совершенно незнакомое мне, лицо.

На меня глянули беспокойные, водянисто-голубые глаза; можно было подумать, что мое обиталище наполнено миазмами, так нос гостя, красноватый и острый, нюхал воздух; через минуту я понял, в чем дело: владелец его, видимо, обладал собачьей способностью чувствовать запахи даже неодушевленных предметов; он сперва поводил в сторону их носом, а затем отыскивал заинтересовавшую его вещь глазами.

— Побеседовать к вам пришел... извините!... — ответил он; нос его зачуял в углу бронзовую доисторическую вазу и глаза его метнулись на нее, затем на меня. — Какие у вас тут все предметы... — добавил он: — древности!

— Что же вам угодно?..

Глаза посетителя несколько минут прыгали по моему лицу.

— Вы изучаете старину? — спросил он, решившись, наконец, приступить к делу.

Я наклонил голову.

— Я тоже... — многозначительно произнес он. — Открытие я сделал!..

Худая, веснушчатая рука гостя скользнула за пазуху и длинные пальцы его вытащили из глубины пиджака какой-то кружок с днищем, похожий на верхнюю часть телефонной трубки. От ободка его во все стороны в виде лучей торчали короткие, тончайшие проволоки.

— Вот! — с торжеством проговорил он, — все тут!

И гость захихикал, заерзал и словно утонул в кресле, из глубины которого заторчали одни его костлявые руки, ожесточенно потиравшие одна другую.

— В приборах я ровно ничего не понимаю, — ответил я, рассматривая вещицу, — и должен сознаться, что вообще изобретения меня не интересуют!

Судороги в кресле прекратились. Из него высунулся нос, а затем и вся бледная, некрасивая физиономия моего собеседника.

— Только не это! — произнес он. — Вы вот издали книжку «Странное»... о влиянии имени на судьбу человека. А окружающая нас обстановка имеет влияние на судьбу?

— Еще бы! Весьма большое!

— А почему?

— Ну, это требует долгих объяснений...

— Конечно, конечно!... — насмешливо прервал меня гость: — социальный вопрос, Карл Маркс, труд и капитал, сапоги всмятку... Ерунда-с! Дело не в том!

— В чем же?

— Вы бывали, конечно, в древних зданиях, в развалинах?

— Часто.

— И вы замечали их действие на вас? Идете по какому-нибудь бывшему кабаку, а ступать стараетесь мягко, говорите тише. Благоговейность какую-то чувствуете? Так?

— Несомненно.

— Ага!... в кабаке то! Это почему же?

— Таково вообще действие всякой старины на человека...

— Вы это «вообще»-то оставьте! Вы в упор мне определите — почему?

Я пожал плечами.

— А я оп-ре-де-ли-л!.. — выразительно произнес он. — В гипнотизм, в передачу человеческой воли на расстоянии верите?

— Верю.

— В электризацию тел, в скопление энергии, иначе говоря, впечатлений, — тоже, надеюсь? Я видел чудодейственные иконы и статуи, — продолжал мой гость, глядя куда-то через плечо мое.

— Тысячи людей ежедневно, в течении веков, горячо молились перед ними: миллионы устремляли на камень и дерево напряженные внимание и волю, и они впитали часть их и действуют на нас, как лейденская банка. Это бесспорно! В развалины замков и зданий я входил веселый, шумный, — веселье тотчас же исчезало во мне. В банях Рима я испытывал то же, что в храмах. Я разгадал, в конце концов, что не внешность их действует так на меня, а нечто другое, скрытое в самых стенах. Они восприняли прошедшее перед ними: в мертвых камнях, в меди, в дереве, в железе, везде заключены речи и тени людей, когда-либо проходивших мимо. Вот почему мы стихаем в старинных зданиях: они излучают силы, мы ощущаем прошлое, притаившееся кругом. Помните сказку о царевне, спящей в хрустальном гробу среди окаменелого царства? Эта царевна — минувшее, спящее околдованным сном в камнях!

— Да вы поэт, — вырвалось у меня.

— Нет, я Иван-Царевич, — гордо заявил гость и ударил себя кулаком в тощую грудь. — Я разрушил волшебный сон!

Красный, острый нос моего собеседника как-то не гармонировал с именем Ивана-Царевича; мне показалось, что передо мной свихнувшийся человек.

— Д-да... — протянул я, овладевая в видах предосторожности тяжелой пепельницей, стоявшей около него. — Это, конечно, любопытно...

Думаю, что никакой король Лир не вставал так величественно со своего седалища, как мой незнакомец.

— Не верите? — высокомерно спросил он. — Впрочем, понятно... Чем говорить, желаете, сделаем опыт?

Он схватился за свой прибор.

— Его надо приложить к стене — он присосется к ней и она расскажет нам то, что знает.

Сумасшедшим, когда затеи их незловредны, противоречить не следует; так как свободных стен в моем кабинете не оказалось, мы с гостем сняли железную кольчугу; одним нажатием руки он как бы приклеил свой кружок к стене, на ее место.

Бледно-синие, чуть заметные искры стали вспыхивать на концах проволочек.

Гость соединил некоторые из них между собой и среди напряженной тишины я явственно услышал шаги тяжело нагруженного человека, приближавшегося к нам откуда-то снизу по трещащим доскам.

— Тсс... сейчас заговорит... — прошептал незнакомец, кладя палец себе на губы и наклоняя ухо в сторону прибора.

— Неси кирпичи скорей, черт крашеный! — вдруг заорал из стены грубый голос: — заснул, пес те заешь!!..

— Не-сс...у... — хрипло и глухо долетело из-под пола.

Все стихло, кроме грузных шагов.

Я с изумлением глядел то на прибор, то на своего гостя. Он стоял, скрестив руки на груди, и улыбался; глаза его блестели.

— Поразительно! — произнес я.

Гость мой снял аппарат.

— Новый дом! — проговорил он, как бы извиняясь за выражение стены. — Рабочие... это понятно! Надо побывать где-нибудь в старом здании.

На этом мы и порешили.

Ровно через день после описанного мы с изобретателем катили по железной дороге к одному из моих приятелей, в

имении которого находился старый дом, еще екатерининских времен, уже предназначенный к сломке.

Настроение у меня было повышенное.

Мой спутник, кроме виденного мною прибора, вез в особом ящике еще другие, дававшие возможность видеть прошлое.

Видеть и слышать мертвых! Было от чего волноваться и с нетерпением ждать приезда.

Под вечер того же дня на крестьянских дровнях, нанятых на станции, мы въехали на занесенный снегом, широкий помещичий двор; среди него темнел выкрашенный когда-то в дикую краску громадный двухэтажный дом с заколоченными окнами; верхний балкон его частью обвалился, частью висел еще в воздухе; крыльца не было; обшивка местами сгнила или была сорвана; вместо нее зияли дыры. Все производило впечатление полного запустения.

Возница свернул к низкому каменному домику, служившему временным жилищем моего приятеля.

Навстречу нам вышел хорошо знавший меня пожилой приказчик и четверть часа спустя мы сидели в теплой низкой комнатке, устланной дорожками, и пили чай.

Хозяина дома не оказалось.

Заменявший его приказчик с недоумением выслушал мое заявление о том, что ночь мы намерены провести в старом доме.

— Помилуйте, да ведь там сто лет не топлено! — возразил он, наливая мне чай, — замерзнете!

— Ничего, мы в шубах и в валенках. Наконец, затопим камин. Их можно топить, как вы думаете?

— Да что им сделается?... можно-то можно, только воля ваша: нехорошо-с!...

— Чем нехорошо?

— Дом агромаднейший, пустыня-с... Жутко будет! Да и пришибить еще чем, не дай Бог, может: ненадежный дом. На что бы лучше здесь: постельки вам сделаем, тепло, лампадочка при образах ... Ночь ведь, подумайте-с!

Мой спутник захихикал и потер руки.

Приказчик неодобрительно покосился на него.

— Конечно, неверующие нынче господа... — добавил он.
— Как будет угодно-с...

— Да уж, будьте добры, устройте нас в доме...

— Слушаю-с! — и он удалился.

Отдохнув после дороги и поужинав, мы в сопровождении приказчика и двух рабочих отправились на двор.

Звездная, безмолвная ночь раскидывалась над землей, завернувшейся в беспредельную белую пелену. Черными горбами рисовались впереди дом и угол сада... Морозило. Снег скрипел под ногами; на хруст шагов где-то зазвякала цепью и залаяла собака.

Дверь, ведущая в дом, оказалась распахнутой; порог ее находился над нашими головами и, за отсутствием крыльца, к нему была приставлена короткая переносная лестница.

Приказчик влез первый и, подав руку, помог нам взобраться за ним. В сумерках широких сеней желтым пятном светился фонарь, поставленный на пол. Почти ощупью приказчик отыскал большую дверь, покрытую, как старый дворовой пес, войлочными лохмотьями, и отворил ее.

— Пожалуйте... — проговорил он, пропуская нас.

Затхлый запах охватил меня. Холодно было почти так же, как на улице.

Приказчик взял стоявшую на сундуке-ларе керосиновую лампу и, подняв ее над головой, повел нас из обширной «лакейской» дальше.

Громадный, двухсветный зал обступил нас; темные стены поблескивали кое-где остатками позолоченных шпалер и украшений; вдоль стен белесоватой чередой тянулись во мраке мягкие стулья, рваные и перетрескавшиеся. Перила хор с правой стороны, служивших местом для музыкантов, словно корона, выступали вверх; пол их провалился и груда досок лежала у стены, засыпав до половины одну из дверей.

Все мы шли в валенках и тем не менее гул шагов отдавался во всех углах; старый паркет трещал и жаловался.

Мы пересекли зал; заскрипела облупленная дверь и волна более теплого воздуха повеяла из темного пространства впереди.

Портретная... Со всех сторон глядели на нас важные, величавые или улыбающиеся лица давно ушедших из мира людей.

Приятель мой, владелец имения, не интересовался ни предками, ни стариной и паутина, как черная вуаль, густо закрывала многие портреты.

Полинявшие, позолоченные кресла и кое-где круглые столики из красного дерева размещались под ними.

За портретной мы миновали обветшалую голубую гостиную и когда наш путеводитель толкнул следующую дверь — яркий свет и настоящее комнатное тепло приятно охватили нас.

Мы были в уютном уголке, служившем, вероятно, в свое время дамским будуаром: об этом свидетельствовали мебель — выцветшая, но местами еще бледно-розовая, стены, когда-то обтянутые такого же цвета тканью и туалет с потускневшим зеркалом.

Камин, с двумя бронзовыми карлами по бокам, был полон дров и пылал так, что делал излишним присутствие горевшей на столе высокой лампы. На двух диванах нас ожидали постели; поверх одеял на них лежали бурки.

Приказчик, осмотрев еще раз, все ли в исправности, сказал, что ночью у них ходят по двору караульщики, пожелал нам спокойного сна и удалился.

Спутник мой принялся расстегивать ремни ящика и затем небольшого чемодана.

Из первого появились два странного вида аппарата, похожие на волшебные фонари; со стороны, противоположной увеличительному стеклу, от них тянулись толстые провода, оканчивавшиеся кружками — присосами к стене.

Слуховых приборов в чемодане изобретателя оказалось целых четыре.

Мы посоветовались и решили поместить последние в зале, в портретной, в гостиной и в будуаре; зрительные же — в первой и последней комнатах.

Изобретатель, с озабоченным лицом и еще более раскрасневшимся носом, торопливо принялся прикреплять к стене будуара присосы. Я помогал, как мог.

Волнение, несмотря на все усилия противостоять ему, овладевало мною все более и более; оно и понятно: ведь мы готовились вызвать умерших!

Окончив все установки, я оставил товарища в зале, а сам быстрыми шагами направился в будуар: мне хотелось согреться у огня, до такой степени стал пронизывать меня внутренний холод.

Отворив дверь, я остановился как вкопанный: перед зеркалом, спиной ко мне, стояла женщина в локонах и напудренном парике; пышное розовое платье ее прикрывали волны кружев.

Из-под него виднелись розовые чулки и туфли, осыпанные настоящими жемчугами.

Мне не хватило воздуха. Я сел, почти упал на стул у двери; он затрещал, и незнакомка повернулась.

Я увидел прехорошенькое овальное личико с двумя наlepленными на левой щеке мушками. Карие глаза ее скользнули по мне, как по пустому месту. Значит, я был для нее невидим!

Я перевел дыхание и тут только увидел разительную перемену в комнате.

Всю ее затягивал розовый атлас; на стенах, в золоченых бра, горели восковые свечи: зеркало, туалет, мебель — все было новое, покрытое позолотой, дорогим бархатом и коврами.

Наши постели исчезли.

— Ариша! Девки!! — крикнула стоявшая перед зеркалом.

Распахнулась противоположная дверь и в комнату ворвалась черноголовая, пышущая здоровьем девка с только что выглаженным кружевным воротником в руках. За нею бомбой влетела другая, русая, неся перламутровый ларчик.

— Скорее, скорее... не возитесь! — капризно торопила барышня горничных, пристегивавших ей воротничок и драгоценности. — Василий Петрович приехал?

— Приехали-с!... давно!... — хором отозвались русая и черная.

На крохотном фарфоровом блюдечке чернела кучка сажки; барышня окунула в нее перышко и кончиком его стала слегка подводить глаза: так требовал этикет времени.

В гостиной раздался смех и мужские голоса.

Я выглянул туда — там не было ни души. Мебель и все в ней было по-прежнему облинялое и дряхлое, но беседа шла громкая: говорили как будто два высокие кресла с торчащей из их сидений мочалой. Жуткое чувство опять нахлынуло на меня.

— Душевно радуюсь, ваше сиятельство; спасибо за честь! — звучало над одним из кресел: голос был жирный, апоплексический, заискивающий.

— Ну, ну... что там еще... Ну, а как розанчик твой, цветет, здравствует? — старчески зашепелявило над другим креслом, отделенном от первого картонным столом.

Я оглянулся.

Барышня и горничная прислушивались тоже: по лицу первой пробежала гримаска недовольствия.

Почти в ту же секунду обе горничные метнулись к двери и припали, одна глазом, другая ухом, к замочной скважине и ниже ее, к щели. По пути они задели за меня, но прикосновение их я не почувствовал.

— Князь с барином нашим вдвоем сидят!... — прошептала черноволосая, поворачивая лицо свое.

— Все о вас, да о вас князь говорит... куклементчик! — русая помотала головой, захихикала и зажала рукой рот.

Послышался легкий стук в дверь костями пальцев.

— Иду... — отозвалась красавица. Лицо ее приняло холодное, почти ледяное выражение.

Девки отскочили в стороны, распахнули дверь и красавица вышла, слегка закинув назад голову.

На пороге она исчезла. В пустой комнате зашаркали ноги, послышалось самодовольное, грузное «хе-хе-хе»... и долгие, сочные поцелуи ручки.

Тяжелые шаги поспешили в портретную: хлопнула неподвижная, закрытая дверь.

— Цветете... цветете... бутон!!... — изнывал в старческом томлении голос.

В зале грянул полонез и я вздрогнул от неожиданности.

— Обожаемая, идемте!...

Шаги их стали удаляться.

На меня бросились обе горничные; я инстинктивно закрылся левой рукой, но они проскользнули сквозь меня и разом растаяли в темной гостиной: они бежали подсматривать.

Я последовал за всеми.

В портретной было почти темно... пахло плесенью, сыростью. В громадные щели из зала пробивался яркий свет.

— Хороша Маша, да не наша! — заявил вдруг, с оттенком зависти, пустой угол.

— Посмотрим еще, чья она будет! — процедил молодой, приятный баритон.

Я открыл дверь в зал и на миг зажмурился: весь он, блестяще белый от пола до потолка, сиял сотнями огней. Его наполняла толпа людей всех возрастов в разноцветных бархатных и атласных камзолах и платьях, сверкавших бриллиантами. Особенно поразительно было море словно серебряных, завитых в букли голов и сплошь бритых лиц.

На хорах, за золочеными перилами, играл домашний оркестр.

Снежно-белые с золотом, шелковые стулья у стен пустовали: все, что было гостей, многоцветной гирляндой шло в величавом полонезе.

Во главе выступал князь — сутуловатый, молодящийся старик с подрумяненными щеками; с изысканной любезностью, изогнувшись, он что-то оживленно шептал своей розовой даме, той, в будуаре которой я был. Она слушала молча, чуть сдвинув черные тонкие брови.

Во второй паре шел багровый, как свекла, курносый толстяк с блаженным выражением на лице, опиравшемся на три яруса подбородков. По голосу я узнал в нем хозяина дома, беседовавшего с князем.

Полонез кончился.

Гигантский змей, двигавшийся по залу, зашумел и рассыпался; лакеи раскинули в углах ломберные столы и по-

жилые гости стали рассаживаться за бостон. В вазах разносили сласти и фрукты. У стен разместились мамы и бабушки, привезшие дочек. Мамаши насыпали себе конфеты в платки и прятали их в мешки-ридикюли.

Тут только я заметил, что я в шубе и в валенках. Меня охватило смущение. Но почти тотчас же я вспомнил, что я невидимка и что то, что я вижу — не существует. Нет слов, чтобы описать мои переживания! В висках у меня стучало; то озноб, то жар волнами катились по моему телу.

— В моей комнате... сейчас!.. — кинула незнакомка в лицо мне и смешалась с толпой.

За спиной моей звякнули шпоры. Я оглянулся. Там у стены стоял высокий, красивый офицер в белом мундире покроя времен первых дней царствования императрицы Екатерины II.

Выждав немного, он стал пробираться в противоположный конец зала и исчез в дверях, ведущих в сени.

Я поспешил в будуар.

Красавица была уже там: она прогуливалась из угла в угол и теребила платок, кусочки которого снежинками белели на розовом, пушистом ковре.

В маленькую заднюю дверь тихо стукнули. Она бросилась к ней, открыла ее и показался белый мундир офицера. Он вошел и протянул обе руки вперед. Красавица замала на него остатками платка.

— Нельзя, нельзя... могут войти!.. Стой там, за порогом... Слушай...

Она почти вытолкнула гостя; дверь осталась отворенной. Из нее глядели мрак и запустение. Офицер исчез, растаял и только рука его, словно отрубленная, держалась за дверь.

Это было особенно жутко.

— Князь сделал мне предложение... Батюшка согласился! — взволнованно кидала слова красавица.

— Вот как!... — проговорил знакомый баритон. — Что ж ты думаешь делать?..

— Я?.. Нет, что ты думаешь, скажи? — воскликнула она.

Голова без туловища показалась над порогом. Взгляд

черных глаз ее был тверд и решителен.

— Мои думы просты: кучер мой трезв — единственный, вероятно. Коней моих знаешь — через два часа у попа будем!

Красавица села и закрыла лицо руками.

— Бросить все... а отец?... что будет потом?!..

— Обсуждали мы уж все это! Решайся, время идет!

Она порывисто вскочила и швырнула платок, стиснутый в руке.

— Нельзя, видно, иначе!.. Хорошо! — сказала она.

— Радость моя! — воскликнул баритон. Офицер вбежал в комнату, обнял красавицу и опрометью ринулся обратно во тьму.

Вместо него ворвалась черноголовая девка и грохнулась на пол к ногам красавицы.

— Матушка барышня! — плача, завопила она, обнимая ее колени: — светик наш! А я-то как же буду?! Засекут ведь... меня... насмерть запорют!..

Вздрогнувшая было красавица усмехнулась.

— Подслушала? — сказала она. — И следует тебя выпороть!

— Милая, возьмите меня с собой!!.. По гроб служить вам верой-правдой буду! — надрывалась горничная, стучаясь об пол головой.

— Полно тебе... Собирай все скорей! — приказала барышня. — Да смотри, чтоб не заметили; салоп в задние сени вынеси.... Так уж и быть: и тебя возьмем!

Горничная визгнула от радости, вскочила, как встрепанная, ринулась вон и разом пропала за порогом.

Мне сделалось дурно: сердце почти перестало работать.

Придерживаясь за косяк, я вышел в гостиную: и в ней, и в портретной слышались шутки, смех, шумные веселые голоса.

В зале танцевали. Напудренные, синие, красные, белые и зеленые фигуры приседали друг перед другом, чопорно кланялись и плыли кругом.

С хор лился менуэт.

Я отыскал глазами своего товарища; в меховой шапке,

съехавшей на затылок, в шубе и в валенках, он стоял, при-
валясь боком к выступу стены, и озира́л толпу видений. Рот
его был полуоткрыт, бледное лицо его напоминало гипсо-
вую маску.

Шатаясь, я пробрался к нему и взял его за руку.

— Будет... иде́мте... — проговорил я,

Он перевел на меня помутившиеся глаза и беззвучно
пошевелил обескровленными губами. Я взял его под руку
и повел за собой.

Снять аппараты, лечь, уснуть... вот что настоятельно
требовали мозг и разбитое тело. Изобретатель как будто не
понимал моих слов; я сделал попытку отделить без его по-
мощи присос от стены залы, но слабеющие все больше и
больше руки не слушались. Надо было оставить все и лечь,
лечь во что бы то ни стало.

Среди шума и говора мы добрались до будуара. Он был
пуст. Я повалился на бархатный диван; товарищ мой сел
было на стул, но затем сполз на ковер.

Из зала доносились звуки музыки. Я стал забываться
сном.

— Что надо? — раздался надо мной хриплый, несколько
раздраженный голос.

Я открыл глаза и увидел толстяка-хозяина. Около него,
согнувшись в дугу, стоял седой дворецкий.

— Батюшка, осмелюсь доложить, беда! — прошамкал он.

— Что такое, что ты путаешь, старый дурак?! — закричал
толстяк.

— Барышню увезли у нас...

— Что-о?! — проревел барин; глаза его выпучились, как
у рака. — Лжешь ты!... Кто, когда?!

— Сию минуту, батюшка: господин поручик Бельский в
сани посадил и увез...

— Силой? Что ж ты не отбил? Где люди были?!

— Да не силой... сама ушла... и Аришку взяли!

— А, а!! — толстяк поднял оба кулака вверх и потряс ими;
лицо его сделалось синим. И вдруг словно кто-то незри-
мый ударил его по темени: голова его мотнулась вниз, гу-
бы перекосило и он, храпя, повалился на пол рядом с на-

ми; старик-слуга хотел поддержать грузное тело барина и не мог.

— Эй, эй! — плачущим голосом закричал он, бросаясь в гостиную через приподнявшегося с пола моего товарища. — Барин кончаются!... Сюда-а!...

Музыка оборвалась.... затопали сотни ног... Я потерял сознание.

Очнулся я только на другой день, раздетый, в постели. А еще через сутки мне сообщили, что мы с изобретателем угорели и его в чувство привести не удалось. В доме в ту ночь от неисправности труб вспыхнул пожар и он весь сгорел дотла, со всем добром и нашими аппаратами. Только нас и несколько портретов едва успели вытащить из огня. Спутника моего вынесли уже мертвым.

Среди спасенных портретов я узнал красавицу в розовом; она лукаво улыбалась мне.

С приятелем, которому принадлежал дом, я чуть не рассорился.

Этот господин самым серьезным образом начал меня благодарить за то, что я, хотя и невольно, избавил его от «старого хлама».

— Не подымалась только рука у меня, — сказал он между прочим, — а то уж я сам не раз подумывал, что хорошо было бы подпалить его со всех четырех углов!

Великое изобретение погибло!..

КОЛЬЦО ЦАРЯ МИТРИДАТА

Раскопки царских скифских курганов — дело далеко не легкое. Представьте себе холм высотой в четырех- или пяти-этажный дом, с более или менее пологими и заросшими травой боками, и вы поймете, какой гигантский труд и терпение требуются для того, чтобы осторожно срезать и свезти на тачках такую гору земли!

Могила эти находятся среди безводных степей, вдали от селений, и археологу приходится целые дни печься на знойном солнце, зорко следя за каждым ударом лопат рабочих. На десять верст кругом нет ни тени, ни деревца; единственное место, где можно укрыться от палящих лучей — это палатка, но в ней нестерпимая духота и спастись в ней от зноя, хотя бы на время обеденного перерыва, нечего и думать.

Медленно, неделями и месяцами длится однообразная работа. Люди срезают холм по отвесной линии, и издали кажется, будто среди степи лежит свежесрезанный, огромный черный каравай. Землю отвозят в сторону по проложенным доскам и просеивают ее на железных решетках; таким путем даже мельчайшие предметы не ускользают от внимания рабочих.

Скифы погребали царей в самых диких и уединенных местах своих кочевий; для этой цели они вырывали под землей коридор и комнаты, где клали прах царя и тех, кто сопровождал его в вечность. Тело окружалось драгоценностями и оружием; вход в могилу тщательно заделывался и над ней насыпался курган.

Чтобы грабители не могли проникнуть в могилу и похитить из нее вещи, она устраивалась не в центре, а в разных местах кургана; поэтому только случайно можно скоро наткнуться на место погребение; гораздо чаще приходится целиком сносить всю насыпь, и только тогда обнаруживается могила.

Увы! несмотря на все измышления и предосторожности скифов — редкая усыпальница дошла до наших дней не ограбленной еще в древности!

Бывают случаи, когда работа целого лета, а то и нескольких лет, оказывается бесплодной; археологи находят лишь перевернувшиеся кости да немногие мелкие предметы, оставшиеся от хозяйничанья грабителей. Зато нетронутый курган дарит иногда такими находками, весть о которых раскатывается по всему миру, и которые проливают яркий свет на быт и историю наших далеких и еще почти загадочных предков.

* * *

Надь одним из таких громад-курганов в год начала мировой войны трудилась экспедиция, состоявшая из трех археологов.

Работа длилась уже два месяца; была снесена почти половина кургана, но кроме обычных мелких кусочков угля, в насыпи ничего не попадалось.

Лето стояло знойное и сухое; трава выгорела, и куда ни оглянись — степь раскидывалась безжизненная и побуревшая; только вечера, когда уже начинал гаснуть закат и небо становилось бледней и бездоннее, приносили с собой свежесть и облегчение.

Раскопки велись артелью рабочих, в числе двадцати человек. Работа сначала шла дружно, но мало-помалу в артель стали проникать вести о том, что цены на рабочие руки возросли чуть не в пятеро, и в одно прекрасное утро артель забастовала.

Удовлетворить их претензии археологи возможности не имели, и ровно через два месяца от начала работ, девяттого июня, артель воткнула свои двадцать лопат в землю около палаток археологов и ушла в ближайшее село, находившееся в семнадцати верстах.

Через час вслед за ними отправились на поиски новых рабочих — но в другом направлении — двое археологов, и на месте раскопок остался в качестве охранителя один только человек — Мурский.

Мурскому было лет тридцать пять. Среднего роста, в меру полный, белокурый, с золотыми очками, из-за которых глядели серые, внимательные глаза, он, благодаря своей манере боком, снизу вверх вглядываться в собеседника, производил впечатление человека, всегда находящегося на страже.

Он был замечательный краниолог и лингвист, много лет посвятивший на объезд древнейших монастырей Греции и Малой Азии и на изучение хранящихся в них рукописей и на раскопки; скифские курганы заинтересовали его недавно и только потому, что от них он надеялся получить ответ, окончательно подтверждающей его наблюдения.

Как известно, первобытные насельники Европы и Азии были люди какого-то длинноголового племени. С течением веков, племя это мало-помалу вымирало и вытеснялось другим, круглоголовым. И, производя многочисленные раскопки в разных странах, Мурский обратил внимание, что вожди и цари круглоголовых всюду были длинноголовые. Поразительный факт этот, ведущий к широким научным выводам, требовал, однако, новых проверок, и таковой являлась раскопка скифского кургана, в которой и принял участие Мурский.

* * *

Оставшись один, Мурский долго глядел вслед своим товарищам, затем заложил руки за спину и стал медленно прогуливаться вблизи палаток.

Степь лежала кругом неприветливая и пустынная; даже в синеве неба не виднелось ни точки — ни орла, ни коршуна. Было около пяти часов дня, и жар понемногу сваливал, но в воздухе продолжала стоять духота; читать не хотелось, да

и не было ничего: почту привезли еще третьего дня, и письма и газеты были давно прочитаны.

Отойдя саженей двести, Мурский остановился, рассеянно оглядел степь, затем курган и направился к нему, чтобы еще раз взглянуть на неприятное открытие, сделанное еще накануне вечером: обрезая отвес кургана, рабочие наткнулись на засыпанный землей узкий коридор, ведущий с поверхности внутрь кургана. Мурскому и его товарищам показалось, что коридор этот — их фантазия, но когда рабочие осторожно выгребли из него землю и обнаружили стенки коридора, сомнений более не оставалось: перед учеными был ход, проделанный грабителями и засыпавшийся еще в отдаленные времена.

Огромная, двухмесячная работа могла оказаться бесплодной!

Мурский подошел к месту раскопок и остановился у самой подошвы отвеса. Ход на обсохшей стене был замечен ясно; он шел под углом в 45° и напоминал узкие проходы в пирамидах, устраивавшиеся египтянами так, чтобы свет Полярной звезды мог падать на саркофаги фараонов.

К сожалению, здесь цель его была другая!

Воровской ход кончался как раз у того места, где остановился Мурский; дальше след исчезал. Мурский взял лопату и от нечего делать принялся осторожно прощупывать землю.

Он стоял на ненарушенном материке; почва под ногами его была плотная и твердая... ход, значит, уходил куда-то в глубь насыпи, но куда?

Мурский увлекся и стал продолжать свою работу. Через несколько минут ему показалось, что земля в одном месте стала гораздо мягче и легче поддавалась лопате. Он погрузил железное острие глубже, и мелкая пыль струйкой потекла из стены, свидетельствуя, что археолог не ошибся: коридор обнаружился снова.

Мурский выбросил из него с кубический аршин земли и вдруг заметил, что у ног его желтеет кусочек палочки. Он нагнулся и поднял его; палочка оказалась косточкой из пальца человека. Лопата сейчас же была отброшена; Мур-

ский взял ручную цапку, опустился на колени и стал очищать место находки. Показались другие мелкие части кисти; длинной линией вырисовались затем кости рук. Еще немного — и обозначился череп, плечи, а там и весь скелет человека. Он лежал, уткнувшись лицом в землю, вытянув вперед правую руку и поджав под себя левую; ноги его были скорчены.

Очистив коридор приблизительно на сажень и обметая скелет носовым платком, Мурский поднялся с земли, скрестил на груди руки и задумался над останками неведомого человека, распростертого в той позе, в которой смерть застигла его несколько веков назад. Не было никакого сомнения в том, что он был задавлен обвалом хода, им же открытого в кургане. Такой трагический конец постигал грабителей нередко, и Мурский знал, что археологам доводилось находить скелеты в обрушившихся минах, но этот скелет был загадочен. Обвал застиг его на обратном пути из могилы: об этом свидетельствовало положение костяка, лежавшего головой вперед, к выходу. Между тем, ни в руках, ни около него не было никаких предметов, похищенных в кургане.

Зачем же, для каких целей, кроме похищения драгоценностей, затеял свое трудное и опасное предприятие погибший?

Мурский опять опустился на колени и принялся за осмотр скелета. Под плечом у него отыскалась круглая золотая застежка с художественным изображением женской головки; около таза, там, где когда-то находилась талия, отыскалось шесть бляшек из электрона, сделанных в виде щитов и украшавших, по-видимому, пояс погибшего. Красота и изящество работы свидетельствовали, что и бляшки и застежки вышли из рук древнегреческого мастера.

Мурский тщательно перешуupal всю пыль кругом, но больше ничего не оказалось: одежда, обувь, ремень — все это превратилось в прах.

Мурский сел около костей, держа в руках найденные вещи, и глядел то на них, то на распростертые останки человека; загадка делалась все необъяснимее. Вещи свиде-

тельствова-ли, что погибший принадлежал к высшему классу общества и был несомненно богатым человеком. Такие люди грабежом могил не занимались и, во всяком случае, лично в подобные предприятия не пускались. Значит, он был не простой вор и проник в могилу не ради поживы... Зачем же именно?

Пытливый взгляд Мурского приковался к поджатой под грудь левой руке скелета. Археолог приподнял кости; рука была прижата к сердцу и стиснута в кулак; на это указывали косточки пальцев и кисти, смешавшиеся в небольшую грудку. Мурский разворошил их и нащупал в земле какой-то круглый и твердый предмет; Мурский вытащил его и поднес к глазам: на ладони его лежало массивное мужское кольцо, сделанное в виде лаврового венка из какого-то не то потускневшего, не то темного металла.

На передней, широкой части его, на свободном полешитке между концами лавровых ветвей была изображена совиная голова; вокруг нее имелись клинообразные знаки и изукрашенные буквы — М. и Е. Работа была — верх совершенства.

Не перстень ли был предметом воцелелений погибшего? Он не был надет на пальце его, как убедился в этом Мурский, а именно был зажат в кулаке. Что же это за драгоценность, за обладание которой отдал свою жизнь неизвестный патриций?

Мурский перебрал мысленно все известные ему легенды и сказания об исторических кольцах, но как ни напрягал память, ничего подходящего не припоминалось. Между тем, когда-то и где-то он мельком читал про кольцо какого-то царя...

Где же сам этот царь?

Мурский перевел взгляд на очищенную им часть коридора, имевшую вид ниши, и заметил, что под сводом немного оползла земля и приоткрылась щель. Он подошел к земляной стене и с радостью убедился, что глаза его не обманули. Мурский несколько расширил отверстие и всунул в него лопату: она легко ушла целиком в пустое пространство.

Похититель кольца, значит, погиб в каких-нибудь двух-трех шагах от сохранившейся части его хода... Если свод уцелел и дальше, то, может быть, сегодня же, через какие-нибудь полчаса, можно будет войти в могилу и взять в руки череп царя?

Мысль эта, что электрический ток, подействовала на археолога; им овладела лихорадка, хорошо знакомая золото-промышленникам и кладоискателям. Мурский поспешно принялся за раскопку бугра земли, преграждавшего ему доступ в курган, и меньше чем через час уже стоял, опершись на лопату и, тяжело дыша, глядел в черную ночь подземелья, уходящего куда-то вниз: — путь в гробницу был свободен.

Мурский сделал несколько шагов вперед, но опомнился и остановился: надо было запастись фонарем и только тогда можно было думать о дальнейшем исследовании. Он приставил к стенке лопату и почти бегом выбежал наружу.

Уже сильно завечерело. Солнце давно скрылось за горизонтом, и на багровом востоке, словно параллельные черные линии, стояли две тучи.

Археологи еще отсутствовали, да надо было думать, что раньше следующего полдня они и не вернутся.

Мурский взял из палатки фонарь со свечой и спички, сунул в карман, где лежало найденное кольцо, складной нож и поспешил обратно.

Около скелета он приостановился, зажег свечу и, подняв фонарь в вытянутой руке, пошел в глубь коридора. Мысль, что висевший совсем низко над головой его мягкий пласт земли может обрушиться и заживо похоронить его так же, как патриция, не приходила ему в голову. Вглядываясь вперед, он продвигался все дальше; мрак медленно отступал перед полукругом света, падавшего из фонаря.

Коридор сделал поворот и привел к спуску в узкий провал; дальше сereли широкие ступени. Мурский сошел по ним и вдруг остановился и поднял фонарь к самому потолку: перед ним, преграждая дорогу, лежали в расширившемся коридоре семь человеческих скелетов.

Сбоку каждого из них находились мечи и копья с бронзовыми наконечниками; в покоробившихся колчанах из толстой кожи торчали стрелы; у ног мертвых доистлевали остатки луков.

То была стража царя, зарезанная при погребении его и долженствовавшая охранять вечный сон его в недрах земли.

Мурский бегло осмотрел кости воинов-скифов и, убедившись, что ничья рука не коснулась их, перешагнул через них и направился дальше.

Коридор раздвинулся еще шире и превратился в довольно большую комнату; среди нее, на высоком треножнике, стояла небольшая бронзовая курильница с благовониями; около нее лежала грудa костей верхней части туловища человека; правильно вытянутые кости ног указывали, что мертвец был посажен у треножника в сидячем положении.

— Раб, — подумал Мурский. — Где же царь?

Он опять поднял фонарь, и сумеречный свет упал на темно-коричневые стены: подземелье было устроено в глинистом слое почвы. Вдоль одной из стен стоял на полу ряд глиняных амфор, ваз и горшков разной величины; все это были предметы домашнего обихода, предназначенные для службы царю в загробном мире.

В середине стены чернело небольшое прямоугольное отверстие.

Мурский подошел ближе и увидал, что вход в соседнюю комнату преграждает окованное в серебро копьe, опирающееся на одну из двух самых высоких амфор; к другой из них был прислонен щит и покрытый золотой оковкой меч.

Около них сидели остатки скелета оруженосца. Было видно, что копьe лежало на двух амфорах и что бывший в подземелье патриций, чтобы проникнуть к царю, сбросил один конец его на землю.

Мурский нагнулся и очутился в узкой и тесной комнатке; перед ним блеснули две большие, чеканенные из серебра вазы, стоявшие в ногах ложа, оставленного в виде выступа почвы; на нем последним сном спал скифский венценосец.

От волнения у Мурского захватило дыхание.

Не обращая внимания на сокровища, наполнявшие усыпальницу, он приблизился к ложу царя, поставил фонарь около скелета и схватил обеими руками то, что было для него драгоценнее всего — обвитый венком из тончайших золотых листков череп царя.

Он был резко длинноголовый!

Мурский долго не выпускал его из рук. Высокий, прямой лоб, правильно очерченный, выпуклые дуги бровей, почти квадратный подбородок — все свидетельствовало, что в этом черепе жил сильный и решительный дух. Недаром и народ почтил его память таким чудовищным по размерам памятником-курганом! Но кто был он, как его имя, какие великие деяния совершил он?..

Ответа на эти вопросы не было...

Никто глубже и яснее археологов не чувствует и не знает истинную цену земного величие и славы!

Вечная память, вечная слава — все это только слова, лепет детей, не представляющих себе, что такое вечность! Сколько раз Мурскому приходилось стоять перед безмолвными гробницами когда-то знаменитых людей и задавать себе вопрос — кто они, что они сделали?...

Мурский положил череп на прежнее место и, взяв фонарь, стал осматривать усыпальницу.

Надписей, свидетельствовавших об имени и делах погребенного, нигде не было. У ног неведомого царя, на совсем низеньком возвышении, белел другой костяк, значительно меньший по размерам; широкий таз, тонкие глазные зубы черепа, огромные золотые серьги, ожерелье из какого-то драгоценного янтаря и витые золотые браслеты, украшавшие кости, указывали, что у ног царя лежала жена его, отправившаяся вместе со слугами сопровождать мужа в иной мир.

Несколько колец, блестевших на тонких косточках пальцев, привлекли к себе внимание Мурского, и он вспомнил о кольце, вынутом из горсти мертвеца, лежавшего в коридоре.

Археолог достал из кармана это кольцо и опять внимательно осмотрел его. Оно было не золотое, но из какого металла — определить ему не удавалось. Держа находку в руке, он приблизился к ложу царя и тут только заметил, что вещи, стоявшие вдоль него, находились в беспорядке: часть ваз была повалена. Погибший патриций, видимо, торопился и, подходя к ложу, ногой опрокинул несколько ваз.

Мурский нагнулся над останками. Руки царя были вытянуты вдоль тела, пальцы левой находились в порядке; Мурский взглянул на правую и увидел вместо кисти перепутанную грудку костей — неизвестный, снимая перстень, смешал все косточки.

Грабеж, стало быть, произошел уже после того, как истлел труп, т. е. значительно позже погребения. Могила наполняла драгоценности и, тем не менее, неизвестного не прельстило ни золото, ни серебро, и он взял только один перстень... Что же это за кольцо, какая в нем сила?!

Мурский опять поднес его к фонарю и вдруг услышал позади себя как бы взрыв смеха. Он быстро оглянулся, посветил фонарем на вход, но все было мертвенно тихо; нигде и ничто не зашелохнуло. Гул, тем не менее, Мурский слышал явственно.

Он вышел в комнату с курительницей, миновал стражу, поднялся по лестнице и углубился в коридор. Почти сейчас же он наткнулся на мягкую стену земли; думая, что он ошибся и взял не то направление, он повернул в другую сторону, но и там его встретила земляная стена; с третьей стороны оказалось то же самое.

Произошел обвал, и Мурский понял, что он заживо погребен в кургане.

Самое важное в жизни — это умение никогда не теряться. Как человек бывалый, Мурский знал это и, чтобы не дать овладеть собой излишней нервности и волнению, присел на осыпь и закурил папиросу.

Часы показывали одиннадцать вечера. Возвращение товарищей можно было ожидать через двенадцать часов: вернувшись, они, разумеется, немедленно же начнут искать его и, заметив следы его работы и скелет у входа, поймут,

что случилось, и примутся очищать коридор. Длина его саженой десять; работать в нем может только один человек, другой должен выносить землю. При сменных рабочих откопка займет три-четыре часа, итого, в общем, ему предстояло провести под землей шестнадцать-двадцать часов. Вывод получился далеко не такой страшный, каким казался в первую минуту.

Мурский вздохнул с облегчением и тут только почувствовал, что он голоден, и вспомнил, что он ничего не ел с самого полдня. Обыскивать карманы было бесполезно: в них не находилось ни корочки.

Приходилось, стало быть, потерпеть.

Вторым по важности предметом был свет; Мурский посмотрел на фонарь и увидал, что в нем оставалось всего полсвечки.

Чтобы как-нибудь сократить время, Мурский решил начать раскопку прохода со своей стороны. Лопаты у него не было: она осталась у скелета патриция по ту сторону обвала.

— А ведь и я почти в таком же положении, в каком он был! — мелькнула неприятная мысль, но Мурский отогнал ее и решил вернуться в усыпальницу и там поискать что-либо подходящее.

Медленно, шаг за шагом, обошел он все подземелье, но среди разнообразных предметов домашнего обихода ничего похожего на лопату не попадалось: скифы были кочевники и земледельческих орудий в могилы не клали.

Осматривая комнату, где лежала стража, Мурский наткнулся на новый, еще незамеченный им проход. Он вступил в него, и свет фонаря упал на тесный ряд белых конских скелетов; они лежали в длинном сводчатом подземелье, головами к нему; Мурский насчитал их двенадцать штук. У самого входа лежал конюх.

Не найдя и здесь ничего, Мурский вернулся в большую комнату и присел у стены неподалеку от останков оруженосца; начала сказываться усталость, и Мурский решил сперва отдохнуть ото всех треволнений дня, выспаться и затем с

черепком от вазы приняться на следующее утро за раскопки.

Он снял чесучовый пиджак, сложил его наподобие подушки, подмостил себе под голову, задул фонарь и улегся на плотно убитый, глиняный пол.

Непроглядная тьма окружила Мурского; было так тихо, что он чувствовал сухое потрескивание в ушах; тиканье карманных часов как будто усиливалось и, наконец, сделалось таким громким, как будильник. Дышалось трудно; воздух был душный и спертый.

Мурский выкурил одну папиросу, затем вторую, но сон не являлся к нему; зато неотвязной толпой, тесня одна другую, лезли разные мысли, — главным образом о кольце царя.

Не было сомнения, что оно считалось талисманом, обладающим чудодейственной силой. Мурский, долго работавший на востоке, знал, что такие талисманы, скопившие в себе запасы неведомой энергии, существуют действительно; чтобы не сломать нечаянным движением таинственное кольцо, он вынул его из кармана, надел на палец, и сон начал опускать его веки...

... — Митридатос Евпаторос... — медленно и отдельно произнес возле него голос.

— Да, да!... — радостно воскликнул Мурский и пробудился от этого вскрика. Он сел, огляделся, быстро чиркнул спичкой и зажег фонарь.

Неясный свет обрисовал треножник с курильницей, амфоры у стен и черный прямоугольник двери в усыпальницу.

...И как он мог забыть запись в древнем хронографе, найденном им в отдаленнейшем Сумелийском монастыре в Анатолии?! Мурский вспомнил не только содержание записи, но перед глазами его, словно въявь, развернулась желтая полоса пергамента, покрытая выцветшими строками на греческом языке.

Митридат Великий имел кольцо, доставшееся ему чудесным образом: этому кольцу он был обязан необычайными

успехами, завоеваниями и победами над непобедимым Римом.

По наущению Махара, — сына великого царя, кольцо-талисман было похищено, и с этой поры несчастья стали преследовать Митридата. Конец его известен: в 63 году до Р. Х. великий царь покончил самоубийством.

Но Махару не пришлось занять трон Босфорских царей. Счастье его было непродолжительно: кольцо, которое он берег пуще глаза, исчезло неизвестно каким путем, и трагический конец пресек дни Махара. Братья его, главным образом Фарнак, подняли на ноги все население царства; было объявлено, что принесшего кольцо ждут богатство, почести и рука сестры их, но поиски кольца счастья не привели ни к чему: оно кануло как в воду...

Тем временем начало возрастать могущество соседей Босфора Киммерийского — скифов. Один из вождей их был избран в цари, и счастье неизменно сопровождало его во всех начинаниях. Имя его гремело по всему побережью Понта Евксинского, и один из греческих купцов, ездивший к самому Итилю, сообщил, что он видел на правой руке царя перстень Митридата.

Дальнейших известий о нем в хронографе не имелось; было только глухо упомянуто, что великий царь скифов умер и по обычаю их погребен неведомо где, вместе со всеми своими сокровищами.

Итак — тайна скелета, лежащего в проходе, была разгадана!...

Какой-то — безымянный теперь — юноша-патриций, чтобы получить руку красавицы — сестры царя, отправился на поиски кольца, узнал местонахождение кургана, проник в него и в ту минуту, когда радостный, полный самых пламенных надежд и мечтаний, бежал с добычей на поверхность земли — погиб в нескольких шагах от нее. Любовь сплелась со смертью...

Мурский взглянул на свою руку и невольно улыбнулся: кольцо темнело на его пальце!

Он задул огонь, и скоро сон опять овладел им.

Когда он проснулся и зажег свечу, часы показывали десять утра. Мурский поднялся и почувствовал слабость и тяжесть во всем теле; голова болела.

Он подошел к амфорам, выбрал самую простую и большую, выволок ее на середину комнаты и ударил каблуком; амфора с треском разлетелась на большие куски. Он выбрал один из них, имевший вид совка, и отправился к месту обвала.

Работа спорилась плохо; вести ее приходилось, сперва стоя на коленях, затем лежа на животе и все время подгребать под себя кучи земли; роясь, как крот, Мурский продвинулся в проделанной им узкой норе аршина на два, и вдруг земля водопадом хлынула сверху на его спину и голову. Отчаянным усилием рук и плеч Мурский едва вырвался из осыпи голову и полузадохшийся, с глазами и ртом, наполненными землей и пылью, вскочил на ноги и шарахнулся назад; только успел он ступить на лестницу — по стенам коридора, шурша, побежали ручейки земли; со свода посыпались комья, и в то же мгновение глухой грохот возвестил, что рухнула и остальная часть коридора... Густые клубы пыли, словно дым, окружили Мурского.

Он кинулся вниз, в комнату стражи, и принялся вытирать глаза и губы: там, благодаря глинистому грунту, опасность ему не угрожала.

Помогать собственному освобождению после такого грозного предупреждения нечего было и мечтать! Оставалось ждать...

Мурский с досадой подумал, что срок его заключения в могиле, благодаря новой катастрофе, удлинился на несколько часов. Он привел, насколько было возможно, себя в порядок, сел у стены и, в видах экономии, задул фонарь.

Есть ему хотелось все сильнее и сильнее и, что было еще мучительнее, — начала томить жажда.

Не шевелясь, просидел Мурский несколько часов в полнейшей тьме и безмолвии. И вдруг ему вспомнилось, что амфоры и кувшины ставились в могилы не пустыми, а с вином, водой и зернами; жидкости, разумеется, сохраниться

не могли, но зерна пшеницы пролежали же в египетских пирамидах целые тысячелетие!

Мурский быстро чиркнул спичкой, зажег свечу и поспешил к амфорам. Большинство из них оказались пустыми; на дне двух лежала земля, в которую превратилось то, что когда-то и кем-то было положено в них, и только в одной рука археолога нащупала толстый слой чего-то твердого. Вынуть его возможности не представлялось, и Мурский тычком ноги разбил амфору. На уцелевшем дне ее была бурая масса; Мурский схватил ее, осмотрел и поднес ко рту. Лепешка оказалась окаменелой, и все усилие его отгрызть хотя бы кусок от нее повели лишь к тому, что во рту у него осталось несколько крошек песка и ощущение какой-то горечи.

Мурский отбросил лепешку и, чувствуя приступ слабости, опустился на прежнее место...

Было десять часов вечера, когда он снова зажег свой фонарь. В висках у него стучало; дышалось трудно. Губы растрескались, и жестокая жажда заглушала даже ощущение голода.

Несколько раз он подходил к лестнице, по которой наползло два потока земли из обвала, и слушал — не доносится ли стук лопат. Но было тихо... могильно тихо...

Который был час дня или ночи, когда он смутно услышал человеческий голос, он не знал.

Мурский быстро приподнял с пиджака голову и трясущейся рукой зажег спичку. Нет, стояла ненарушимая тишина... кроме скелетов, никого в комнате не было... Спичка погасла, и Мурский опять склонил на подстилку истомленную голову.

— Отнимите кольцо! — явственно прозвучали на этот раз слова; Мурский сел, как подкинутый пружиной, и огонек звездочкой вспыхнул в руке его; мрак отступил в углы и, казалось, будто чьи-то тени шарахнулись прочь от света.

— Что? — спросил Мурский, и ему почудилось, что это не он, а другой спросил его губами.

— Отнимите кольцо! — повторил повелительный голос. Он исходил из усыпальницы, и Мурский понял, что он при-

надлежит царю.

— Отдай кольцо... — шепотом произнес совсем близко от него другой человек.

Мурский вздрогнул, схватился опять за спички, зажег одну и, как факелом, провел ею перед собой по воздуху.

Опять в углы и в черные дыры дверей попрятались какие-то фигуры; одна притаилась за амфорами у комнаты царя. Мурский вгляделся в нее и увидал, что скелета оруженосца там нет, а на его месте сидит, прижавшись спиной к амфоре, человек в бараньей шапке на голове.

— Ты вздор, тебя нет! — хрипло сказал ему Мурский, но человек не сводил с него немигающего, злого взгляда и протянул руку к копыю; оно чиркнуло по стенке амфоры и со звоном легло у ног его.

Весь трясясь, ломая спички одна за другой, Мурский принялся зажигать фонарь. Свеча, наконец, загорелась и Мурский увидал, что оруженосец не вздор, а действительность, что он встанет и выпрямляется во весь громадный рост... Волосы поднялись дыбом на голове археолога.

— Зарежьте его!... — прозвучал из комнаты царя властный приказ. Оттуда выглянуло женское лицо с большими темными глазами; в ушах у нее блестели большие золотые серьги.

Мурский повернулся, чтобы бежать, но свет фонаря озарил коренастого, голого раба, что косматый бык, поднявшегося ему навстречу от треножника.

— Куда?! — грубо произнес он, протягивая волосатую руку; другой он вытаскивал из-за ременного пояса короткий бронзовый нож.

Мурский отпрыгнул в сторону, опрокинул несколько ваз и прижался к стене. Выход ему был отрезан: в комнату, звеня оружием, входила стража; из-за стен доносилось ржание коней и нетерпеливый топот копыт их.

Раб и оруженосец схватили оцепеневшего Мурского за руки и поволокли к треножнику: археолог дико закричал и забился — он увидал жертвенную чашу и понял, что его тащат к ней и сейчас перережут над ней горло.

Удар кулака в голову сбил его с ног. Миллионы звезд заискрились на черном небе перед глазами Мурского и вдруг мягко и бесшумно поплыли вместе с ним в бесконечность...

Откопан Мурский был только к концу пятых суток. Такое опоздание произошло потому, что археологи, едва разыскавшие рабочих, вернулись к кургану только через два дня.

Отсутствие Мурского удивило их, но, так как не было данных предполагать, что он находится в кургане, они не особенно обеспокоились. Скелет патриция был найден ими сейчас же по прибытии: обвал его не коснулся. Около костей стояла лопата и все указывало на то, что Мурский, обнаружив скелет, очистил вокруг него место, затем приставил к стене лопату и ушел по каким-то своим делам.

Неопытные рабочие не сразу распознали, что земля в обвале была свежая, и заметили это только на второй день работ. Нечего и говорить, что, когда обстоятельство это выяснилось, всем стало ясно — куда так странно девался Мурский, и работа закипела днем и ночью.

Вынесли его из подземелья без памяти.

Здоровый организм Мурского вскоре сладил с начавшейся болезнью, но, к великому огорчению его, знаменитое кольцо счастья пропало. Вероятно, оно соскользнуло в степи с пальца археолога, когда его везли в уездный город, и оно и поныне лежит — дремлет где-нибудь в серебристом ковыле...

ВЕЧНАЯ СЛАВА

Седобородый мудрец, окруженный толпой учеников, стоял на высоком холме и указывал рукой на расстилавшуюся у ног его унылую, выжженную солнцем пустыню.

— Смотрите! — говорил он: — здесь когда-то раскидывался первый город мира, необозримый Вавилон! Под этими холмами таятся остатки его дворцов, домов, башен и храмов. Весь мир был полон славой его: сила и знатность и богатства — все было ничто и падало ниц при приближении его владык! «Царь царей» — так именовали себя эти владыки! Все — и народы, и земля, и сама вечность — принадлежало им.

Но вот прошли века и умер великий город. Ветер пустыни занес прахом дворцы и могилы великих мира сего, песком забвенья покрылась и память о них.

Кто были эти мертвые, лежащие кругом? Какова была их жизнь, что сделали они? Ответа нет... Ни всемогущество, ни несметные богатства не спасли их от волн Леты!

Но, друзья мои, утешьтесь: бессмертие есть! Рядом с великими людьми всегда существовали и маленькие. И эти маленькие, даже самые незаметные в свое время, создали себе и своим повелителям то, к чему так стремились те — вечную память о них!

Имя этим людям — писцы и поэты! Они записывали дела своих современников, и вот то здесь, то там на этом поле отыскиваются глиняные плитки древних с их рассказами о минувшем. Разрушились сотни других государств, неизвестно ушли в могилы миллионы замечательных людей, а плитки, папирусы и рукописи целы; живы для нас Платон, Аристотель, Сенека, Эсхил — мудрецы и писатели.

Не те цари царей, что лежат здесь под прахом у ног наших, а мы — мы, люди пера и мысли. Все пройдет и только книги наши вечно, до конца дней мира, будут жить и светить человечеству! Книги и ум — вот что действительно удостоено вечности...

Ученики почтительно внимали словам великого учителя. И когда вернулись домой из путешествия, старый мудрец засел за свой последний, наивысший труд, в котором задумал изложить все свои знания и выводы за долгую жизнь. Он чувствовал, что должен был скоро умереть и торопился причаститься бессмертию.

Книга мудреца вышла в свет и гул восторженного удивления прокатился о ней по всем странам. Она разошлась в сотнях тысяч экземпляров и старый мудрец под гул и похвалы ушел в иной мир с радостной улыбкой на лице.

— «Вечная слава» — такова была надпись на одном из его бесчисленных венков.

Прошло сто лет и книгу мудреца хотя и упоминали еще везде, но, как водится, читать уже перестали. Новых изданий не выпускали, а старые зарастали паутиной и плесенью и разрушались. Через триста лет на всем свете остался единственный экземпляр его книги в великолепном переплете.

Как чрезвычайную редкость, ее спрятали в особый шкаф за тафту и стекла и разрешили смотреть, но не прикасаться к ней.

Такое почтение возбудило любопытство библиотечных крыс и кружок самых почтенных из них решил ознакомиться с загадочным творением.

Две ночи подряд прогрызали они дыру в шкафу и, наконец, добрались до заповедной полки. К утру от великого творения осталась лишь грудa мелко крошенной бумаги; вокруг нее задумчиво, шевеля носами, сидели три седые крысы.

— Да!... — проговорила одна из них; — в этой книге действительно было что-то особенное!

— Лучше всего был корешок! — заметила другая.

— И книга ничего себе!... — снисходительно отозвалась третья: — прокричали про нее лишнее, это правда! На мой взгляд, она была несколько суховата...

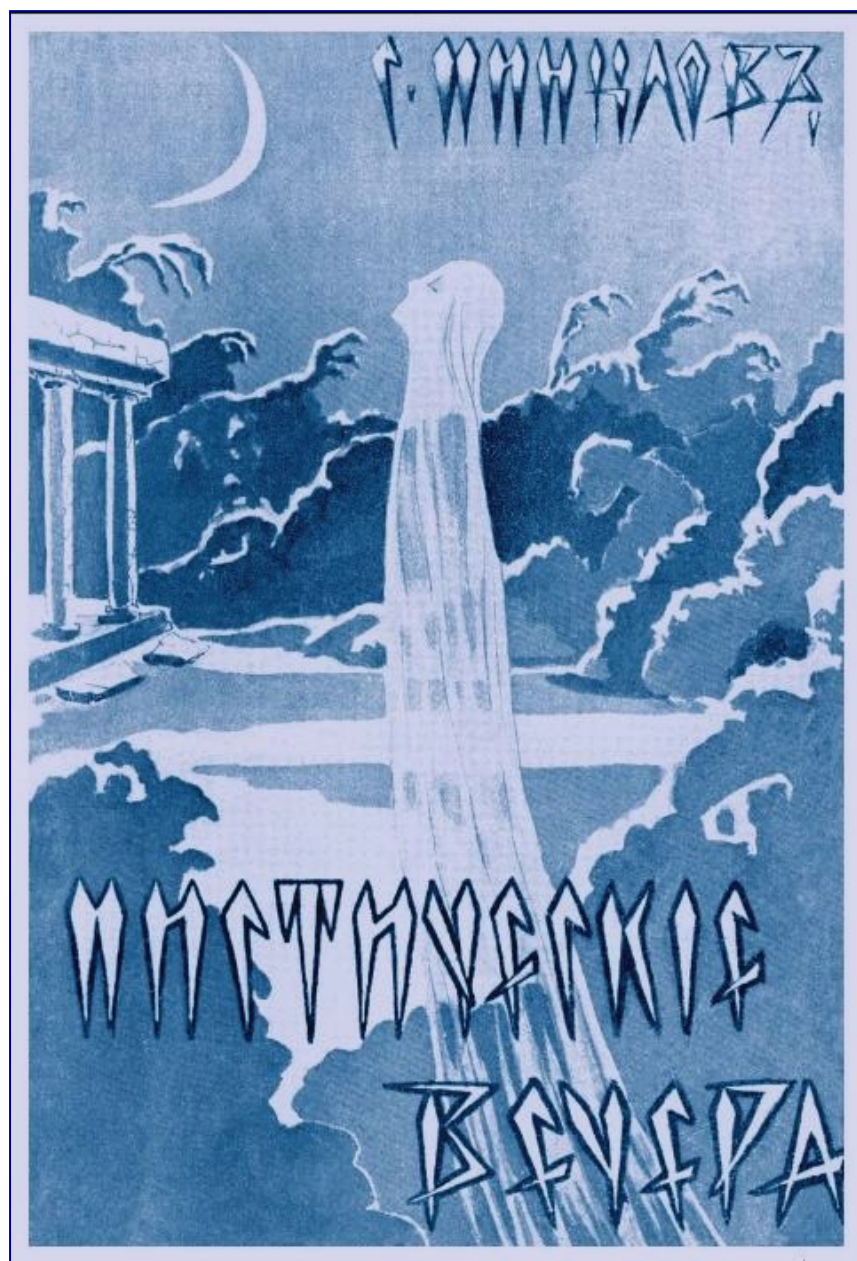


© MEDICAL

Из книги

МИСТИЧЕСКИЕ ВЕЧЕРА

**(ЗАПИСКИ ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ
ОСЕННЕЙ НЕПОГОДЫ)**



МИСТИЧЕСКИЕ ВЕЧЕРА

Осень — время года мистическое.

Природа медленно засыпает; деревья в садах стоят обнаженные, мокрые, почернелые: и полях ни души, в комнатах тишина. Она утончает слух и нервы, и никогда так хорошо не думается и не чувствуется, как осенью в старых усадьбах, на безлюдье. Молодежь разъехалась по университетам, гимназиям и курсам; дом и даже двор замерли...

«Скучно!» — заявит горожанин. Он уже утратил связь с прошлым и то особое чутье потустороннего, которое развивает близость к природе. «Скуки в деревне нет!.. — отвечу я. — То, что по недоразумению считается скукой — не что иное как преддверие прозрений, быть может, мелких и неважных, но ведь из зернышек обрастают и деревья».

Вслушайтесь в безмолвие. Вглядитесь в темные бездны зеркал, вы погрузитесь в мир ощущений. Вы почувствуете сидящую в высоком кресле у окна вашу давно умершую бабушку; в зале с хрустальными сталактитами люстр, чуть звенящими от шагов, заслышите далекую музыку, наметятся румяные и бледные лица; солнечным лучом ускользнет на оббитый виноградом балкон юная парочка, заработает память. Факелами вспыхнут забытые события, приключения, речи... мимо, задев вас плечом о плечо, вновь пройдет ваша молодость... Это не воспоминания — это видения!

Если при этом отметить стены из книг, накопленных несколькими поколениями, тепло и уют — обрисовка осенней скуки будет закончена.

Гости в такую пору, в распутицу, не заглядывают, но верстах в пяти от меня в старой запущенной усадьбе проживал мой приятель, старый холостяк и большой чудак, Деревеницын.

Какое ненастье ни стояло бы — раз либо два в неделю на черном змее проселка, под горой, на которой стоял мой дом, показывалась коляска с поднятым верхом и запряжен-

ная тройкой: это ехал ко мне Деревеницын, или же послал за мной лошадей.

В обществе он был скучный и молчаливый человек, наедине же, дома или в кругу близких, словно перерождался и делался оживленным, разговорчивым и остроумным. Лицом напоминал старого актера и, слушая, имел привычку наклонять голову с мочалистыми волосами к плечу, складывать на довольно круглом животе руки и прищуриваться — он был близорук.

Мы с ним знали друг друга еще мальчиками, но благодаря разнице в характерах особой близости между нами долго не устанавливалось; появилась она значительно позже.

Деревеницын был наследственный мистик: в их роду мистики тянулись непрерывно цепью от времен Новикова, дочерью которого была прабабка моего приятеля.

Про Деревеницына по уезду ходили разные странные слухи; приятеля моего одни считали повихнувшимся, другие чуть ли не алхимиком; все это, конечно, был чистейший вздор.

Отец Деревеницына по сей день стоит передо мной как живой. Был жизнерадостен, громадно-толст и велик; на широких плечах его белела классически прекрасная голова с умными карими глазами, под которыми злое время сделало коричневые наплывы в виде мешков. Под ногами его, когда он шел, трещал пол; ходил он мало, так как страдал одышкой и расширением сердца.

Когда-то он считался первым львом и мазуристом в губернии, но я в ту пору его не помню.

Мне было лет десять, когда я случайно присутствовал при его беседе с кем-то из соседей. Гость осведомился, как он себя чувствует.

— Как смертник в ожидании казни!.. — серьезно ответил Деревеницын.

Гость удивился.

— Какой же казни?.. — возразил он. — Вы крепки и здоровы!

Деревеницын молча покачал серебряной головой.

— А мои шестьдесят пять лет вы забыли?.. — возразил он. — Мы, старики — все приговоренные к смертной казни.

— Да ведь это судьба всего человечества. Наконец, умирают и молодые!.. — воскликнул гость.

— Совершенно верно... — был ответ. — Но молодые знают, что их казнь отложена на далекое «когда-то», а мы уже стоим в очереди у предельного порога. Это сознание иногда нестерпимо.

Слова эти поразили мое воображение, и после мне долго казалось, что я вижу какую-то громадную темную комнату, у порога которой жмутся испуганные бледные люди, и их по очереди выпускает в нее огненнобородый палач с топором мясника в волосатой руке.

Месяца два спустя произошло событие, о котором долго говорили в уезде: на Владимиров день — свои именины — Деревеницын созвал чуть не полгубернии, и, после роскошного обеда, вечером начался бал. Весь зал утопал в цветах и в зелени; хозяин, оживленный и веселый, вперекачку ходил от одного гостя к другому, шутил и смотрел на танцы. После обильного ужина он с бокалом шампанского в руке выступил на середину залы.

— За дорогих гостей! — воскликнул он. — Ура!..

Оркестр грянул туш.

— А теперь мазурка... — приказал хозяин.

Под общее «ура» и аплодисменты он подал руку совсем юной, смутившейся барышне, расправил плечи, вскинул голову, ударил каблуком о паркет, оттолкнулся от него и, весь помолодев и подбравшись, с неожиданной легкостью, с особой красотой мощи и подъема, понесся кругом зала. Грохот рукоплесканий и одобрительные крики заглушили музыку.

Деревеницын сделал тур, завертел даму и, не переведя духа, пустился снова. Но уже ноги его стали сдавать и подгибаться, он огруз, лихой поворот не удался, он споткнулся, выпустил свою даму, приподнял руки к горлу, упал на колени, затем повалился ничком.

Все бросились к нему, и я в том числе. Музыка оборвалась. Деревеницына перевернули на спину; он не шевелился, и я, весь похолодев, глядел на помертвелое лицо; из угла его рта чуть змеилась алая струйка.

Смерть от разрыва сердца — дело обыкновенное. Но в боковом кармане его нашли запечатанный конверт и, вскрыв, прочли следующее: «Устал жить и ежеминутно ждать конца. Смерть избираю красивую — убиваю себя мазуркой. Желаю счастья всем, кто оказал мне последнюю честь — был на мои именины-похороны».

Нечего и говорить, что они были необыкновенные!..

24-го июня наш тесный кружок всегда собирался у моего соседа, Деревеницына. Съезжались мы накануне, вместе проводили Купальный вечер, а 26-го числа наши тройки уносили нас по своим гнездам.

Дом Деревеницына был большой, старинный; прятался он в густом саду, кончавшемся у почти круглого озера с высокими берегами, отчего оно казалось глубокой чашей, наполовину наполненной синей эмалью; у самой воды его окаймляли густые камыши; в них гнездились тысячи диких уток.

Деревеницын был старый холостяк, и приволье у него было всем полное. Ужинали мы обыкновенно на обширной террасе со свечами в стеклянных колпаках, а на ночь располагались в угловой диванной: вдоль стен ее тянулись широкие диваны; середину комнаты занимал овальный стол, покрытый темно-синей суконной скатертью; вокруг него размещалось несколько мягких кресел.

В нашу «ночлежку» всегда переезжал из своей спальни хозяин, и беседы затягивались до рассвета.

Однажды Иванов вечер выдался хмурый; с горизонта медленно подымалась черная туча; садившееся солнце уто-

нуло в ней, и сразу наступили сумерки; только верхний край тучи блистал, как расплавленное золото.

Глухо, перекатами чугуна, стал поваркивать отдаленный гром; на веранду, крутя смерчи на дорожке, бросился порыв ветра. Сад зашумел; в воздухе понеслись оторванные листья и ветки. Надо было уходить в дом, и мы переселились сперва в столовую, а там и в свою комнату, где нас уже ждали готовые белоснежные постели. На дворе тем временем разыгралась гроза; яркие молнии то и дело освещали нашу спальню; несколько яростных ударов грома обрушились, казалось, на нашу крышу.

Штор в диванной не имелось, и мы, улегшись по своим местам, молча наблюдали за творившимся; один из нас — длинный и тощий Курбатов — сидел в белье у окна и очень походил на Дон-Кихота.

Гроза стала удаляться, огненные трещины в небе бледнели и сменялись синими, беззвучными зарницами.

— Красота! — проговорил Курбатов. — Эта гроза напомнила мне случай, бывший со мной в Полесье.

— Просим рассказать! — отозвались мы.

— Был я лет десять тому назад в Пинском уезде, — стал продолжать Курбатов. — Охота там изумительная, и я соблазнился рассказами приятеля и прикатил к нему в гости. Имение его находится в глушайшем углу, среди лесов и лабиринта речек и озер. Рыбы в них по сей день количество невероятное, и я целые дни пропадал в челноке с ружьем и удочкой: без лодки там охота немыслима. Чтобы не заблудиться, я в качестве оруженосца и проводника брал с собой пожилого полеха, Павла — угрюмый по виду был человек, лохматый, черный; ходят они всегда в белом, и потому он выглядел мрачнее, чем был в действительности.

Лето стояло знойное, и даже на воде не было спасенья от оводов и жары. Иногда мы с Павлом забирались за несколько десятков верст, а то и по суткам не возвращались домой. Однажды мы искрестили множество протоков и озер, путались в густых камышах и в дебрях едва проходимых лесов и, когда спохватились, время стало уже позднее, и о

возвращении домой нечего было и думать: надо было позаботиться о каком-либо ночлеге. Кругом на добрый десяток верст не жило ни души. Павел вспомнил о какой-то заброшенной старой избушке, находившейся, по его словам, неподалеку, и, поминутно оглядываясь, налег на весла: речонка давала поворот за поворотом, но желанное убежище не показывалось.

Солнце нырнуло за черную тучу, и сноп золотых лучей заиграл в небе; сразу засумеречело; вода почернела и стала зловещей. Туча подымалась какая-то странная, вся клубящаяся.

И вдруг я заметил глядевшую на нас из-за зубцов елового леса полуразрушенную высокую башню и стены старинного замка. В Полесье такие развалины попадаются в самых, казалось бы, недоступных местах; возведены все эти крепости были когда-то на берегах обширнейших озер и глубоких рек, теперь превратившихся в болота.

— Замок! — проговорил я.

— Где замок? — с удивлением и легким испугом переспросил Павел.

Я указал рукой.

Павел озирнулся в ту сторону и вместо того, чтобы причаливать к берегу, быстро погнал лодку дальше.

— Куда же ты? — спросил я. — Здесь хорошо заночевать можно.

— Разве тут ночуют? — пробормотал он вполголоса.

Взгорок и древние строения, стоявшие на нем, проплыли мимо нас и скрылись за поворотом.

Сумерки быстро превращались в ночь: стал докатываться отдаленный гром — желанной избушки все не показывалось. Блеснула первая молния: шипя, ударили по воде крупные капли дождя; как на грех, берега начались топкие, болотистые, и укрыться было негде.

Гроза быстро догоняла нас; изломы молний бороздили небо, и при вспышках их жутко, до самого дна, освещалась речная глубина... Я различил огромную щуку, недвижно застывшую у самой поверхности воды; будто щупальца ка-

ких-то чудовищ, тянулись снизу корни деревьев. Удары грома делались все яростней. Минутами мы врезывались в сплошные камыши, крутились среди них и наконец уперлись в невысокий сухой лесистый бугор.

Мигом мы выскочили из лодки, втащили ее на берег и бегом бросились к елям. Только мы успели добежать до них — хлынул, вот как сегодня, ливень: шатры елей пробивало насквозь; при свете молнии мы различили, что немного дальше высятся два отдельных гигантских дерева, и перебежали к ним.

Сверкнула новая молния и осветила высокую стену из дикого камня; почти рядом с нами чернели ворота: под сводом их можно было отлично укрыться.

Увидал их и Павел и, когда я сказал, что надо перебежать туда, вдруг прижался к толстому стволу ели и не двигался с места.

— Идем же! — повторил я. — Здесь на нас сейчас нитки сухой не будет!

— Да то ж панны Ядвиги замок! — в страхе шепотом вымолвил он. — Мы же мимо него сейчас плыли; назад завело нас!

Рассуждать времени не было: я подхватил своего спутника под руку и бегом потащил за собой; через минуту мы стояли под воротами в полной безопасности от дождя.

Я зажег спичку. Над нами изгибался вполне уцелевший свод; пол проезда усеивали камни; справа в стене башни виднелась узкая черная впадина двери; главный проезд выводил во двор; дальше тянулись какие-то замковые строения.

Павел стоял в одном месте, крестился и что-то шептал — вероятно, молитву, следил за моим осмотром.

Под воротами тянул холодный сквозняк, и на ночь там располагаться было неудобно: я заглянул в боковую дверь и, светя спичкой, увидел винтовую кирпичную лестницу с до половины сточенными ступеньками. Я поднялся по ней во второй этаж и очутился в небольшой, очень высокой комнате; за нею ютилась другая, маленькая, с камином и дву-

мя окнами; рам и дверей нигде не имелось, но свод над обеими комнатами был цел, и вторая мне показалась даже теплой.

Не без труда я зазвал наверх своего спутника; продолжая креститься и озираясь, как затравленный, он поднялся за мной, и первое, что принялся делать, — это закреплять окна, дверь и даже камин.

Яркий свет, будто вырвавшийся из жерла вулкана, озарил до мельчайших подробностей наше убежище, и грянул такой удар грома, что, казалось, сразу разбило и разнесло по кускам весь замок; Павел, сидевший у стены против окна, закрыл лицо руками и низко пригнулся к кирпичному полу. Как всегда бывает после такого удара, гроза начала стихать; застучал дождь, но и он скоро стих; стал мягко светить месяц. У меня проснулся зверский аппетит, и я сходил к челноку и принес пару кряковых селезней и кожаную торбу с хлебом и разными дорожными припасами. За хворостом мы отправились вместе, и скоро в нашем убежище стало светло и даже тепло и уютно. Павел очистил уток и сжарил их на шомполе от своего оружия.

Мы поужинали, я поглядел в окно на серебрившуюся речку, на мутно-синюю даль, и оба мы стали устраиваться на ночь. У нас не было с собой даже войлочка, и расположиться пришлось прямо на полу около камина.

Прежде чем лечь, Павел опять закрестил все отверстия и успокоился; через несколько минут я услышал его храп и, должно быть, немедленно последовал его примеру.

Ночью мне сделалось холодно; я встал и подбросил в чуть тлевший огонь сучьев, потом присунулся ближе к огню и вдруг — увидел глядевшее в окно молодое женское бледное лицо; его освещал месяц.

— Приснилось! — подумал я, повернулся на другой бок и похолодел: из второго окна глядело то же лицо. Бледная рука протянулась ко мне: запястье ее темно-зеленой змейкой обвивал браслет.

— Разбей браслет... — тихо выговорила женщина: я скорее угадал, чем расслышал эти слова.

Я молчал.

— Разбей! — с мольбой повторила она. Рука и она сама скрылись. Тут только я заметил, что комната наша полна дорогой старинной мебели из резного черного дуба. Я сел и стал внимательно рассматривать все и, когда взглянул на дверь, увидел, что на пороге двери, напряженно подавшись вперед, стоит высокий человек в длинном белом плаще и громадными горящими глазами озирает комнату: войти его не допускала какая-то невидимая сила; он стонал и хватал перед собой костлявыми руками воздух, как бы стараясь найти и отворить несуществующую дверь.

Страх охватил меня. Я сделал над собой усилие и встал. Все разом исчезло: комната была пустынна; ни в дверях, ни за окнами какого не было, да и быть не могло, так как окна находились высоко над землей... но сон был так необыкновенен и ярок, что сердце долго и крепко колотилось в груди.

С восходом солнца мы были уже на ногах и плыли в обратный путь. Павел сидел довольный и улыбался.

— Ну как, ничего не почудилось вам ночью? — осмелев при дневном свете, спросил он.

От неудобств ночевки у меня болели голова и бока и разговаривать не хотелось.

— Ничего не видал, — отозвался я.

— Это оттого, что я закрестил все входы! — убежденно ответил мой спутник. — Иначе страсть что было бы: живыми не ушли бы! В замке панны Ядвиги мы ночевали. Люди его за сто верст обходят.

Около полудня наше странствие наконец закончилось, и я с насаждением почувствовал себя, после солнцепека челнока, в мягком кожаном кресле, в прохладной комнате, за стаканом холодного белого кваса. Я поведал приятелю, что с нами произошло.

— Ты третий очевидец, который повторяет мне один и тот же рассказ, — ответил хозяин. — Правда, подробности разные, но сущность одна и та же — дама просит разбить ее браслет. По моему убеждению, ты видел не сон: ты ви-

дел сквозь сон какую-то древнюю быль. Кстати, тебе известно предание, которое связано с этим замком?

— Не слышал, пожалуйста, расскажи!

— Говорят, в семнадцатом веке замок принадлежал какому-то важному польскому магнату. Имел он красавицу дочь по имени Ядвига. Была она просватана за молодого рыцаря, произошло торжественное обручение, и в разгар веселого пира невеста вдруг побледнела и впала в глубокий и долгий обморок.

С трудом ее привели в себя, и она, озираясь, рассказала, что какая-то непостижимая сила внезапно перенесла ее из-за стола, за которым она сидела, в дремучий лес. Стояли сумерки, слышался все приближающийся волчий вой.

Она в испуге кинулась бежать, но звери догоняли ее.

— Спасите! — закричала она. И в ту же минуту перед ней вырос высокий человек весь в белом, с огромными страшными глазами, и вытянул вперед руку: волки остановились, сбились тесной гурьбой и завyli.

— Я спасу тебя! — произнес страшный незнакомец. — Но за это ты должна стать моей женой!

— Я не могу... Я невеста другого! — ответила Ядвига.

— Ты будешь моей! — настойчиво повторил человек в белом.

— Никогда! — воскликнула она.

— Будешь! И вот тебе знак обручения со мной!.. — Он с силой бросил в нее чем-то твердым.

Ядвига почувствовала резкую боль в руке, очнулась и увидела себя в своей комнате.

Рассказ всполошил весь замок. К ужасу всех, на левой руке Ядвиги оказался совершенно никем не виданный браслет-змея, сделанный из какого-то зеленого вещества. Попытки снять его оказались безуспешными; стали пробовать распиливать или сломать его — Ядвига закричала от сильнейшей боли, и браслет пришлось оставить на ее руке.

Свадьбу отложили. Несколько раз потом назначался день ее, и каждый раз перед входом в костел невеста впадала в глубочайший обморок и после него рассказывала, что бы-

ла в лесу, и человек в белом уговаривал ее стать его женой и наконец заявил, что браслет — это цепь, связующая ее с ним, и до тех пор она не выйдет ни за кого замуж, пока не будет уничтожена эта цепь.

В дело вступило духовенство, но ни мессы, ни заклинания не помогли. и после одного из обмороков панна Ядвига скончалась. И когда с мертвой хотели снять браслет — из руки ее показалась кровь: браслет как бы сросся с телом. Его оставили, и Ядвигу похоронили в склепе под каплицей.

— Следовало бы собраться произвести там раскопки! — задумчиво добавил хозяин.

— Прошло много лет после этого разговора, и мой приятель наконец раскачался. Вот что я на днях получил от него, — Курбатов встал и достал из кармана письмо и зажег свечу. — «Дорогой друг! — начал он читать. — Ленъ прежде нас родилась на свете и потому...» Ну, это прелюдия обычная, а вот интересное... «Ты, конечно, не забыл о своем приключении в замке Ядвиги? Расскажу теперь о нем все дальнейшее. В прошлом году мы целой компанией исследовали замок и под грудой мусора и щебня отыскивали вход в каплицу, а из нее — в подземелье. Там стоял небольшой открытый гроб: крышка его валялась на земле, а в гробу лежал женский скелет. К нашему изумлению, на костях левой руки его находился художественно сделанный зеленоватый браслет в виде змеи с изумрудными глазами: она даже показалась нам живой. Я стал снимать его, и вдруг он переломился у меня в руках на несколько кусков. Сделан он был из какого-то неизвестного металла.

В память нашей находки мы поделили куски браслета-змеи между собой и заказали себе по одинаковому кольцу

из них. Вообрази, кольца эти стали нам приносить несчастья, и мы все четверо в конце концов должны были отделаться от них. Я со своим поступил просто: выкинул его в Припять, но три дьявольских зелено-чешуйчатых кольца еще бродят по свету. Берегись их!»

Мы молчали, думая о рассказанном.

Лил беспросветный дождь, тем не менее в условленный день ко мне съехался весь наш маленький кружок любителей непогоды, и в теплой столовой, за стаканом чая, затеялись обычные рассказы: речь на этот раз коснулась предопределения и гипноза.

Четвертый член нашего содружества, Павлищев, жизнерадостный человек лет сорока, слушал нас молча и помещивал ложечкой в стакане.

— А я вместо своего мнения прочту вам выдержку из своих записок... — сказал он и достал из кармана тетрадку. — Вот что произошло со мной лет восемь тому назад. Я очень увлекался собиранием народных преданий и даже выпустил в свет одну книжечку с ними. Лето тогда проводил я в имении, у тетки, и она посоветовала мне отправиться пешком с богомольцами в Пустынь и пожить с ними несколько дней.

Пустынь находилась от нас что-то верстах в шестидесяти, и дорога туда вела чуть не сплошь лесом. Совет пришелся мне по душе, и в одно прекрасное утро я сунул в карман револьвер, надел на спину брезентовый мешок с припасами и бельем, привязал поперек пальто, вырезал хорошую орешину и через сад выбрался на дорогу. Ну-с, а теперь начинается моя записка... — Павлищев сиял золотое пенсне и начал читать. «День стоял яркий, веселый, цвела рожь, пахло парным хлебом: сотни жаворонков звенели в

небе, и сердце так и взмывало за ними от какой-то радости. Часа через два я уже шагал по широкому большаку, обсаженному еще екатерининскими березами. Простор открывался необъятный. Скоро я заметил в нети на зеленом бугорке кучку отдыхающих людей; она состояла из баб и двух мужчин; один был с длинной и узкой бородой: на нем темнел охваченный холщовым поясом подрясник, рыжеватые волосы двумя локонами свисали с плеч на грудь; другой был невысокий, в синей рубаше и портах, коренастый мужик лет сорока; русая короткая борода и волосы на голове вились тугими кольцами; бабы были в белых платках; около каждой лежало по котомке и коричневому армяку; на одной, самой пожилой, была городская клетчатая черная кофта и такая же юбка; все, конечно, были босые.

Приметив меня, странник приподнялся и воззрился острыми глазами.

Как водится, я поздоровался и присел около отдыхающих. Они направлялись в ту же Пустынь и охотно приняли меня в свою компанию.

Вожаком ее был странник; вид он имел елейный, и в то же время что-то беспокойное, испытующее мелькало в серых глазах его; среди женщин особым вниманием пользовалась старушка, одетая по-городскому.

Переждав самый разгар пекла и дав отдохнуть партии, странник поднялся и стал надевать котомку; начали собираться в путь и остальные.

Сперва все мы шли кучкой, потом мало-помалу растянулись вереницей; дорога сделалась песчаной, и идти стало труднее.

— А нынче до Пустыни дойдем? — спросила совсем молодая баба с болезненным бледным лицом.

— Где дойти! — отозвался странник. — Завтра, дай Господь, к вечерням поспеть!

Молодая вздохнула.

— Ничего, бабочка, держись, — подбодрила ее старушка. — Скоро лес начнется, идти вольготнее будет.

— А велик лес-то? — осведомилась одна.

Странник махнул рукой.

— У!.. верст на тринадцать залег. Да какой: ни деревнюшки, ни жилья не встретим!

— А ночевать где же будем?

— А под елочкой, у огонька...

Баба промолчала и опасливо обвела глазами горизонт: там черно-синей бесконечной линией намечался бор.

— Сказывают, шалят в лесу-то? — промолвила она некоторое время спустя.

— Было это когда-то, Федосьюшка! — успокоительно сказала старушка. — Давно не слышать ни о чем таком.

Солнце уже чуть клонилось к закату, когда мы свернули с большака и лес окружил нас; овевало прохладой; по обеим сторонам встали высоченные стены из елей: левая сторона дороги еще видела солнце, правая уже насупилась и потемнела.

— Сейчас ключик студеный будет, — сказал странник. — Сладости необычайной. Воистину сказать — иорданская водица! Около него и заночуем.

Прошло с час, и багряные зубцы левой стены сразу погасли: солнце село, вскоре открылась небольшая лужайка с громадной шатровой елью посередине; почти у самого ствола виднелись несколько заросших ярко-зеленым мхом булыжин; из-под них выбивался кристальный ручеек.

Около него разложили костер; на наклонно воткнутых в землю палках над огнем повесили жестяные чайники; в золе пекли картошку; оживившиеся бабы разбирали свои котомки и приготовились к скудному ужину.

Чай и сахар оказались только у меня да у городской старушки и мы с ней явились в роли угощателей; остальные спутники вежливо и чинно подставляли свои кружки и выбирали самые маленькие кусочки сахара.

Ночь наступила полусветлая, июньская; мутно-синее небо казалось хрустальным; звезд смотрело не много, да и те казались какими-то мелкими искрами; отблеск костра шевелился кругом поляны, деревья стояли замороженные.

— Жутко, бабоньки! — проговорила Федосья и поежила плечами.

— Ай в первый раз идешь? — спросила старушка.

— В первый, бабушка, — созналась та. — Вдруг из-за куста кто-нибудь выскочит? На месте помрешь!

— Буде брехать! — сердито вскинулась третья баба с обветренным и почти черным лицом.

— Безо времени не помрешь! — назидательно прожурчал тенорком странник. — Значит, что кому суждено, то и сбудется. А в отношении разбойников, то взять им у нас нечего.

Кудрявый мужик лежал на животе, смотрел на костер и чуть усмехался. На спине у него был наброшен коричневый аяз, казавшийся горбом.

— Это когда с богомолья идут, у тех взять нечего, — заметил он. — А которые в монастыри идут — те с копеечкой!

Несколько баб вздохнули, все промолчали.

— Не наше несем, а Божье! — строго отозвалась старушка. — Наша копеечка и из чужих рук к Господу докатится, да все Ему скажет!

— На што она Ему? — заявил мужик. — У Бога всего много!

Старушка покачала головой.

— Много-то много, а лепта вдовицы все-таки всего приятней была Ему, батюшка! Вот ты и отыми поди у нее копеечку, которую она Богу несет! — старушка указала на одну из баб со скорбным лицом и глубокой складкой, просеченной между красными буграми бровей.

Мужик смутился.

— Да я-то что же? — пробормотал он. — Я так, к слову пришлось.

— Бабушка Ненила, — обратилась к старушке бледная молодая, — вы про барыню про свою обещались рассказать. Расскажите.

Бабы подбросили в костер несколько веток, и языки огня взметнулись в дыму и в искрах кверху.

Старушка задумалась и долго смотрела на них, потом опомнилась.

— Старинная я, сказать, прислуга, — начала она. — У Кондоровых вот уже сорок годов служу, хорошие господа, добрые. Дочку имели единственную — Ксеничку. И вот надо же так было случиться, годов так с пятнадцать, что ль, тому назад разорили их добрые люди вчистую — все как есть пришлось перезаложить, выпродать, прямо хоть живыми в могилу ложись!

Что тут было делать? А Ксеннчка что цветочек росла, многие на нее стали засматриваться. И подвернись богатей-жених. Крюков по фамилии. Не хвалили его люди, да и старый был — нашей барышне семнадцать тогда минуло, а ему сорок семь — разница! Шибко он Ксеничке не нравился, к молодым тянуло ее. Ну, приступили к ней родители — выходи да выходи за Крюкова, спаси нас! Поплакала она, заплакала да согласие свое и дала.

Бледная молодайка тихо ахнула, она слушала рассказчицу, впившись в нее глазами.

— Дальше все как водится пошло, — продолжала старушка. — Сговор был, потом обручение. После него, как уехал жених, убежала наверх Ксеннчка, забилась в шкаф с платьями, чтобы никто не видал, и плачет там, разливается. А в дому у них старуха древняя жизнь доживала — нянька Ксении, она же и барыню вынянчила. Ворчунья была — не приведи Господи, а по Ксеничке обмирала! Разыскала она свою барышню, вывела ее из шкафу, успокоила кое-как да и говорит:

— Милая ты моя, нечем мне тебя дорогим подарить, подарю на память тебе вещицу одну, только не проговоришь ни душе о ней и о том, скажу сейчас! — И с этими словами вынимает из кармана куклу, румяную, небольшую, со светлыми волосиками, совсем простую, и шепчет: — Не расставайся с куклой этой, береги ее! Что бы с тобой ни случилось, муж ли обидит, на душе ли горько станет, задумаешь ли сделать что, спрячься от глаз людских да наедине шепотком и Расскажи куколке все, ничего не потай; от-

вета она тебе не даст, а легче сделается!

Взяла барышня подарок, расцеловала нянюшку, а там скоро и свадьбу сыграли; молодые прямо из-под венца куда-то далеко в Сибирь уехали.

На пятый день после их отъезда нянька скоропостижно скончалась: господа мои остались вдвоем проживать, да я с ними третья.

Начали от нашей Ксенюшки весточки доходить; ни на что в письмах не жаловалась, а через знакомых слыхали, что не красно живется ей, бедной, да и детки каждый год рождались — тоже нелегко даются они нашей сестре!

День за днем, неделя за неделей, и минуло таким родом десять лет. И ни разу моим господам не довелось с дочкой увидеться! А на одиннадцатом, почти в одночасье, померли враз барин наш, отец Ксенюшки, и муж ейный.

Ну барыня, конечно, сейчас же после похорон захватила меня с собой и марш в поезд. Едем мы с ней, а думки все около Ксенюшки нашей вьются — каково-то она себя чувствует, как выглядит? «И не узнаем ее, пожалуй, — говорим между собой. — Подурнела, должно быть, постарела...» От мыслей даже слезы глаза застили!

Бабы вздыхали и жадно слушали; заинтересовались и странник с кудрявым мужиком.

— Добрались мы наконец с барыней на самый то есть край света, к морю-океану, во Владивосток; вышли на станции на платформу и видим — бежит прямо к нам красавица какая-то статная, нарядная, да как закричат обе враз с барыней и давай обниматься друг с дружкой; потом меня принялась целовать — не забыла за десять-то годов! И я реву, конечно. Повезла нас в коляске к себе: в собственном доме жила в большом; всех своих детишек нам показала, с гувернантками вывела.

Ну, пообошлись мы, попривыкли, старая барыня и начала допытываться — правда ли, мол, что очень худо жилось ей при муже. Призналась, что правда.

Удивилась старая барыня.

— Да как же ты при такой жизни похорошеть сумела?
— спрашивает. — С ума можно бы было сойти, в ведьму за столько лет превратиться, а ты все прежняя, всем довольная и веселая?

Тут молодая барыня нам и открой про куклу и слова няньки все.

Мы так и ахнули!

— Да неужто верными они оказались?! — обе вскричали.

— Не будь куклы нянюшкиной — давно бы меня на свете не существовало бы, — серьезно ответила. — Хорошее ли, дурное ли что, бывало, стрясется — забьюсь с ней подальше да все ей и расскажу без утайки, выплачусь — и все как рукой снимало, опять спокойно на душе становилось. Даже здесь, за тысячи верст от вас, одинокой не чувствовала себя.

Загорелось нам с барыней с моей на куклу на эту диковинную поглядеть; принесла ее из своего тайника Ксения и подала матеря.

Руками мы всплеснули, как увидали, — страшная, лысая, вся выцветшая, лицо истрескавшееся, побурелое, все в морщинах будто!

— Да она старуха совсем! — заявила барыня. — Такой и подарила тебе ее нянька?

Мотнула головой Ксения.

— Нет, — ответила. — Совсем молоденькой кукла была — словно вместе с ней замуж выходили! Это она вместо меня постарела — все горе и слезы мои в себя вбирала! Пусть теперь у меня на отдыхе живет — служба ее уже не нужна мне больше!

— Так-то, милые бабочки, слушайте да на ушки и наматывайте, — оборвала рассказчица саму себя.

— Кукла?.. — чуть шевеля губами, выговорила бледная молодка. — Вбирает в себя?

Они крепко потерла лоб, до переносицы повязанный белым платком.

Бабы, переговариваясь о слышанной истории, начали устраиваться на ночевку.

— Не иначе как наговоренная кукла была! — уверенно заявила одна из них.

В костер подвалили толстых сучьев, и все, подмостив под голову котомки и покрывшись чапанами, расположились вокруг огня.

То здесь, то там стало раздаваться похрапывание. Я укрылся с головой, и вдруг сквозь сон мне почудилось всхлипывание. Я откинул с лица край пальто и осмотрелся: плакала бледная баба; недвижно лежавшая старушка зашевелилась и села.

— Ты, что ль, Агаша? — негромко спросила она, прислушавшись.

Всхлипывание повторилось.

Старушка встала и подошла к одному из длинных бугорков и приоткрыла полу армяка.

— Чего ты, Агашенька? — задушевно спросила она.

Из-под азяма показалась голова в белом платке и уткнулась в юбку старушки.

— Нетути у меня ничего... и куколки нетути! — захлебываясь и стараясь сдержаться, провсхлипывала она. Старушка погладила ее.

— Полно, полно, — проговорила. — Вот придем в обитель, вместе помолимся. И на твою долю найдется у Бога что-нибудь. Спи, Христос с тобою!

Она перекрестила ее и ушла на свое место.

— Горя-то, горя на этом свете! — про себя промолвила старуха, проходя мимо меня.

Долго еще слышались ее вздохи.

Ночь сделалась еще светлее; на совершенно чистом небе сиял полный месяц; лес безмолвствовал, дымно-серебристые лучи проникали в него до самых корней, и казалось, то здесь, то там тихо светилось рассыпанное серебро. Несмотря на близость костра, было свежее.

Я закутался крепче в пальто и сквозь одолевший сон различал, как вблизи на дороге прогремывали колеса теле-

ги, не то повозки... слышались голоса...

Павлищев опустил тетрадь.

— Этим кончается моя тогдашняя запись, — сказал он и начал перелистывать рукопись дальше. — А вот что мною было записано через месяц: «Был в городе и встретил небольшую партию острожников, закованных в кандалы. Один из них показался мне очень знакомым; узнал и он меня и с усмешкой кивнул мне головою: это был курчавый мужик, ходивший с богомольцами и со мною в Пустынь.

Я отправился к следователю, и тот сообщил мне, что наш спутник через пять дней после нашей встречи зарезал около родника в лесу купца, возвращавшегося в тележке с ярмарки».

Павлищев закрыл тетрадку и спрятал ее в карман.

— А почему все так произошло, разберитесь сами, — добавил он и надел пенсне — он был близорук, и когда читал, то снимал его.

— Я однажды испытал странные ощущения, — заговорил Павлищев. — Как вам известно, я большой любитель побродить по Руси наподобие странника, и вот раз меня занесло в Псковскую губернию, в часть, ближайшую к эстонцам; она очень живописна и богата памятниками старины.

Был я не один, а с приятелем, Григорием Никитичем, таким же молодым студентом, каким был и я. Оба мы горели любовью к старине и оба ее собирали. Шли мы с походными мешками, без шапок, в русских рубахах и с длинными ореховыми палками в руках.

Вечер застал нас в пути; пустынная дорога вилась то по взгоркам, то по низинам; ни жилья, ни селенья не было — кругом расстилались леса; горизонт начал закутываться туманом. Месяц еще не всходил, стояли душные, вселяющие

тревогу сумерки. На небе совсем низко наметилось зарево. Оно все усиливалось, воздух как бы наливался кровью — из-под земли, не светя, подымался громадный багровый месяц.

Мне вспомнилось «Слово о полку Игореве»: такая же зловещая ночь встретила когда-то Игоря в донских степях.

Мы прибавили шаг; наконец впереди засвницовело длинное, узкое озеро; за ним мигал желтый огонек; с кручи противоположного берега глянула белая церковка; на отлете от нее громоздились какие-то развалины; в них можно было распознать остатки храма. Вокруг церкви рассыпалось кладбище.

За ним виднелись тесовые крыши двух строений, большого и маленького.

Дорога привела прямо к ним. Меньшее оказалось домом священника, другое — школой. Поодаль, в ложине, укрылись соломенные шапки селения.

Из-под крыльца с лаем выкатились две лохматые собаки, но, добежав до нас, мирно замахали хвостами, набитыми репейником до того, что не могли сгибаться и торчали, как палки.

На крылечке забелела тесемка в пучке волос, и выглянул из двери высокий человек в сером подряснике.

Я сказал, кто мы, и попросил разрешения переночевать в школе — летом они всюду пустуют.

— Что же, ночуйте, — ответил вышедший.

Сбоку, у его плеча, показались сросшиеся густые брови и смутное лицо женщины.

— Заходите, заходите! — пригласила она. — Найдется место.

Мы вошли в прихожую, а из нее в небольшую столовую, освещенную висячей лампой; это ее огонек маячил нам путеводной звездой.

У окна сидела, полуоборотясь к нам, молодая, темноволосяя девушка с резко очерченным лицом. Мы поклонились ей и стали разгружаться в уголке; она ответила легким кивком и опять отвернулась к окну.

Хозяева, видно, только что готовились к чаепитию и нас пригласили принять в нем участие. Мы уселись за стол, и словоохотливая попадья много расспрашивала и рассказывала. Священник молча глотал горячий чай, лицо у него было странное, нездоровое; опущенные веки подымались только изредка, тогда между ними черной полоской прорезались неподвижные глаза.

Приятель мой в разговоре участия не принимал и, не отрываясь, смотрел на что-то чрез мое плечо. Я покосился назад и увидел, что он не сводил глаз с хозяйской дочки; та продолжала сидеть на прежнем месте.

Месяц уже успел потерять багровую окраску и ярко сиял на сини неба; мир был наполнен его светом; девушка казалась серебряной. Рот ее был чуть приоткрыт; она вся, подавшись вперед, впитывала в себя лучи месяца: глаза светились. Мне почудилось, что язык у нее был раздвоенный и шевелился, как у змеи жало, она нет-нет и проводила им по губам.

Мать подметила мой взгляд.

— Варвара, чай пить иди! — сказала она.

— Не хочу! — отозвалась дочь, поднялась со стула и, не торопясь, прошла за моей спиной и скрылась за дверью.

Меня чуть овеяло легким холодком.

После чая и яичницы попадья приказала здоровенной стряпке отнести в школу для нас сена; мы захватили свои мешки и зашагали через освещенный большой пустырь за своей путеводительницей; она несла такую охапку сена, что, казалось, в подъем была разве барке.

На самом краю обрыва, с лицом, поднятым к месяцу, не шевелясь, стояла Варвара. Спутник толкнул меня локтем.

— Лунатичка, должно быть? — тихо проговорил он, кивнув на стоявшую.

Вслед за стряпкой мы вступили в большой, совершенно пустой двор; из него по две двери вели налево и направо; путеводитель наша свернула в самую заднюю, и мы очутились в полутемном классе; парты были составлены горкой у одной из стен; против окон большое свободное простран-

ство. Стряпка свалила на него свою ношу, октавой пожелала нам спокойной ночи и удалилась.

Мы подошли к окну и увидели лужайку; на ней лежала тень от нашего дома, дальше серебрилось несколько развесистых берез; за ними спала деревня; на небо с той стороны, будто стаи белых птиц, наплывали облака. Мы разворошили сено и устроили постели.

— Ночь темная будет, — как бы вскользь заметил мой спутник. — Надо свечу достать. — И он стал рыться в своем мешке.

Около парт нашелся простой деревенский стул. Приятель поместил его между нами у изголовья, и мы улеглись.

Меня стало сразу клонить ко сну, но мешало какое-то беспричинное беспокойство. Несколько раз я преодолевал желание спать и прислушивался к дыханию своего спутника: он не спал тоже. Делалось темнее; со двора слышался собачий вой; немного погода надрывно залился второй пес.

— Па-а-ршивый черт! — проговорил приятель. — Не люблю я... — он оборвался на полуслове.

Сквозь сои мне почудилось, будто из коридора осторожно нажали дверную ручку.

С минуту прошло в глубоком молчании. И вдруг я совершенно ясно услышал, как кто-то, уже в нашей комнате, широким размахом провел по стене ладонью.

— Кто здесь?! — воскликнул мой приятель. Он быстро чиркнул спичкой и поднял ее на высоту руки.

В комнате, кроме нас, не было ни души. Он зажег свечку, огляделся и лег снова.

— Крысы, должно быть. — заявил он. — Не оставить ли свечку ночь — крысы боятся света?

Мне все, кроме сна, было безразличным.

— Что ж, оставим, — пробормотал я.

Веки опять начали смыкаться. Пробудил меня голос соседа.

— А ты обратил внимание на язык здешней поповны — он раздвоенный! — говорил он.

— Видел... — отозвался я, не открывая глаз; сон, будто свинец, вливался в меня.

— И глаза странные — совсем без зрачков, слепые... светятся... — слышалось мне откуда-то издалека. — Тянет меня куда-то!..

— Спи! — через силу пробормотал я; мне показалось, что не больше как через минуту что-то грохнуло в пол или в степу и пробудило меня; приятель мой сидел на постели; одна нога его была уже в сапоге, другой он натягивал и, очевидно, нечаянно стукнул каблуками. Свечка горела по-прежнему, но уже значительно укоротилась — значит, я поспал совсем не мало.

— Ты куда? — спросил я; язык ворочался у меня во рту, как колода.

— Не могу лежать, — сказал приятель. — Пройтись хоччу...

Я необыкновенно отчетливо понял, что не должен отпускать его одного никуда, напряг всю волю и поспешно принялся одеваться; сознание стало быстро проясняться во мне.

— Знаешь что? — заявил я. — Мы никуда не пойдем. Будем спать!

— Душно! — выговорил он, обводя вокруг себя руками.

Спутник мой лег, он казался совсем размякшим и обезволенным.

С пустыря донеслись нечеловеческие голоса.

— Зовут? — выговорил он и приподнял голову.

Мне почудилось то же самое, с жутким чувством я напряженно прислушивался к каждому звуку.

Месяц закатился, окно стало казаться черным провалом, над домом, словно метель из нечистой силы, кружились черные птицы. В комнатах слышались шорохи, перешептыванья — проклятая напряженная ночь тянулась бесконечно!

Во дворе полусонно пропел петух, ему откликнулись многочисленные заревые петухи из деревни. И как это ни странно, но на меня тотчас же снизошло полное успокоение:

я почувствовал, что мы в безопасности, что гнетущая, злая сила, давившая всю ночь, выпустила меня из лап своих. Стало светать. Григорий Никитич спал как убитый, на усталом, посеревшем лице его отражалось блаженство полного отдыха.

Я задул свечу и мгновенно уснул.

Горячие солнечные лучи разбудили нас; время было позднее, и мы принялись одеваться. Спутник мой выглядел кислым.

— Как чувствуешь себя? — спросил я.

— Да разбитый я какой-то, — ответил он. — Будто всю ночь воду на мне возили. А ты?

— Да и я в этом роде. Уж не лихорадку ли мы вчера на болотах подцепили?

— Шут ее знает! — Голос его прозвучал неуверенно.

Мы оделись, прошли к кухне и умылись на дворе, подавая друг другу воду из деревянного ковшика.

Попадья позвала нас пить чай, и за столом мы оба очутились против Варвары; священника не было.

При свете дня в ее лице решительно ничего необыкновенного, кроме глаз, не оказалось; они были серые, водянистые и совершенно без зрачков, змеиные, видящие недоступные нам дали и бездны. Взгляд ее часто задерживался на моем кареглазом, красивом спутнике, и как только это случалось, он терял нить разговора, сбивался и не мог сосредоточиться. Варвара проводила раздвоенным языком по губам, и на лице ее проступало выражение торжества.

После чаепития мы отправились осматривать развалины: с нами пошла и Варвара.

Они находились на самой высокой части береговой горы; от древней церкви псковской кладки уцелели, и то лишь до половины, только заалтарная стена на плоского красного кирпича да боковая арка; сквозь нее голубело озеро; за ним разбегались по свету одетые лесами, округлые горы. Храм наполняли груды щебня и кусты бузины; из углов и из-под стен тянулись ввысь березки; кругом развалин тес-

нилось множество ям, бугорков и кое-где плиты старинного, заброшенного кладбища. Вслед за Варварой мы попали в самый древний уголок его; там лежали несколько громадных плит с высеченными на них какими-то неразборчивыми, быть может, руническими знаками.

Мы присели на могильные бугорки; вид разворачивался захватывающий. Я достал из футляра фотографический аппарат, снял озеро и развалины и обратился к нашей проводнице:

— А теперь позвольте вас снять?

Варвара усмехнулась.

— Не хочу.

— Почему?

А так!

— А мне вас очень хочется снять.

— Снимайте, только предупреждаю, что ничего из этого не выйдет!

Засмеялся и я.

— Ну, уж это вы чересчур самоуверенны!

— Попробуйте! — с вызовом сказала она. — Я даже не шевельнусь.

Я сделал с нее четыре снимка с разных мест и торжествовал. Варвара загадочно улыбалась, и я почувствовал, что от нее исходило что-то знакомое, то злое, с чем мы боролись ночью.

«Ведьма!» — мелькнула во мне мысль. Она медленно повернула ко мне лицо.

— Ведьмы не милуют! — заявила она со скрытой угрозой. У меня перехватило дыхание: она читала мои мысли, как книгу!

— Кто ведьма? — спросил мой спутник, не понявший ее слов.

— Это меня здесь зовут так, — пояснила Варвара. — Или вы еще не знали об этом?

— В первый раз слышим, — отозвался я. — За что же вас так величают?

— Потому что я все могу сделать, — блеснув мертвыми глазами, проговорила она.

— Например, что же?

— Что задумаю... Жених у меня был; мать его ни за что не хотела нашего брака. Я в полнолуние пожелала ей смерти, и она умерла в тот же день!

— Значит, вы злая?

Варвара как будто задумалась.

— Я не злая... — обронила она. — Во мне есть другой, кто заставляет меня делать зло.

Она все время избегала направлять взгляд на нас.

— Я ведь летаю по ночам... так ярко, тогда так хорошо! — будто в бреду призналась она.

На лице ее написались глубочайший восторг и счастье.

Григорий Никитич глядел на нее, не отрываясь; я прятал глаза, чтобы не подпасть под ее влияние.

— Иногда летишь в лунную ночь, — обхватив колено, продолжала Варвара, — сядешь на сук дерева, около какой-нибудь совы, переговоришь с ней и дальше, и выше взмываешь!

— На каком же языке вы говорите с птицами? — спросил я.

— Не знаю. Птицы и звери — мы все понимаем друг друга. Иногда подлетишь к освещенному окну чьего-нибудь дома, сядешь и слушаешь, что говорят за стеной люди...

Мне она стала казаться опасной безумной, которую следовало обезвредить.

Она досадливо повела плечом в мою сторону.

— Кто безумный, узнаете после! — опять ответила она на мысль. Вдохновенное выражение сошло с лица ее.

— Смотрите, пришли вы вдвоем, а отсюда не уйти бы кому-нибудь одному! Григорий Никитич, хотите остаться здесь? — задорно спросила она.

— Хочу, — выговорил он.

— Видите? — со смехом заявила Варвара. — Лучше не пробуйте тягаться со мной!

Григорий не сводил с нее взгляд и явно находился в том же безвольном состоянии, в каком был ночью.

Я почувствовал, что и меня начинает гнестить и одолевает та же сила. Надо было отступать, пока еще было можно!

— Шутки шутками. — спокойно по виду сказал я и поднялся с могилы, — а нам с тобой нужно еще все село обойти.

Поднялись и оба моих спутника. Варвара проводила нас до берез за школой и дальше не пошла.

— Здесь в дуплах мои приятельницы живут, — сказала она. — А там враги, — она кивнула на деревню и, поглядев с минуту нам вслед, отправилась обратно.

— Встряхнись, Григорий! — строго обратился я к своему приятелю. — Что тебя будто в котле сварили?

— Да что-то нездоровится. Надо бы дневку здесь сделать?

— Нужно совсем другое! — оборвал я.

Мы вошли в село; я постучал в окошко крайней избы, и из него высунулась пожилая баба в красном платке.

Я спросил, нот ли лошадей, чтобы отвезти нас на станцию. Баба послала нас дальше, и через несколько минут я и мой приятель сидели в просторной избе и договаривались с хозяином. Надо было как можно скорее убираться из опасного гнезда, а потому за деньгами я не стоял, и торг был закончен быстро.

Бородатый, рыжий хозяин, с лицом красным, как помидор, отправился запрягать, и немного погодя мы втроем подкатили в старенькой повозке к школе. Пустырь, к великому моему удивлению, был безлюден.

Я спрыгнул на землю, велел поворачивать лошадей, а сам побежал за мешками; Григорий остался ожидать меня.

С вещами я управился в один миг и, когда вернулся с ними, с крыльца дома смотрела попадья, а к нам не торопясь направлялась Варвара. Мой спутник приподнялся, чтобы вылезти к ней навстречу, но я удержал его.

— Куда это вы так вдруг собрались, иль испугались чего? — с нехорошей усмешкой осведомилась она.

— Да, вспомнили, что дело ждет спешное. К поезду поспеть хотим.

— Лучше заночуйте, все равно опоздаете.

Рыжий мужик покосился на нее с облучка, но ничего не сказал и отвел глаза в сторону.

Григорий опять сделал движение, чтобы сойти с повозки, но я грубо схватил его за плечо и посадил на место.

— Будьте здоровы! — сказал я Варваре и подошедшей к нам попадье. — Всего хорошего. Спасибо за приют.

— До скорого свидания! — веско пообещала Варвара.

Мать зорко поглядела на нас, затем на дочь, но молчала и все поглаживала рукой по ободку телеги.

— Где? — удивился я.

— У вас в доме!

— Не далековато ли очень? — с насмешкой возразил я.

— Ничего... для милого дружка и сто верст не околица! Пошутить приду, посмеяться — помните!

— Буду ждать. — задорно вырвалось у меня. — С Богом!

Мы покатали через деревню, когда миновали ее, возница оглянулся, убедился, что на дороге, кроме нас, никого нет, и сел вполуборот.

— Ведьма ведь! — проговорил он, понизив голос. — Как это вы еще целыми ушли? Бог вас спас! — он несколько раз перекрестился.

— А что же она делает? — полюбопытствовал я.

— Да порчу всякую наводит. Скот морит, коли озлится. — Он опять оглянулся. — Несколько раз утопленники неизвестно чьи в озере всплывали... не иначе, как она прохаживающихся заманивала! Измывается над людьми как хочет!

— А что, мы и вправду не поспеем к поезду?

Мужик с сомнением пожал плечами.

— Надо бы поспеть — всего пятнадцать верстов здесь, времени у вас девать некуда — четыре часа!

Разномастные коньки усердно работали мохнатыми ногами, и лес скоро кончился; с горизонта смотрел бор. Время в беседе летело незаметно; Григорий участия в ней почти не принимал и только коротко отвечал на вопросы.

Мы проехали уже большую часть пути, как вдруг я почувствовал, что дно повозки опускается; затем последовал толчок о землю, и лошади остановились. Мы клюнули головами в спину возницы.

— Ось пополам! — воскликнул он, соскочил с облучка, заглянул под возок и стал растерянно осматриваться кругом.

— Вот ведь оказия! — проговорил он. — Крепкая ось была, и на поди! Это ее рук дело — как пообещала, так и вышло.

Как на грех, кругом не виднелось ни деревца, да, впрочем, оно было бы и бесполезно, так как топора, чтобы сделать новую ось, с нами не было.

Пришлось вылезать из повозки; мы помогли вознице кое-как связать поломанное место веревкой и пешком добрались до станции.

Поезд ушел, что называется, перед самым носом у нас; следующий отправлялся только ранним утром.

Пришлось побродить по маленькому станционному поселку и отыскивать себе приют.

Вечером я опять стал испытывать беспокойство — мне казалось, что вот-вот спутник мой подымется с постели, на которую я уложил его, и тайком улизнет обратно. Чувство это все усиливалось, и к ночи я дошел до такого возбуждения, что перекрестил несколько раз единственное окно нашей каморки, дверь и все стены, затем то же проделал с крепко уснувшим Григорием.

Взошел месяц, такой же блестящий и огромный, как накануне, горенку наполнила мутная синь. Боясь уснуть, я зажег свой огарок, приклеил его к столу, а сам присел у окошка, отодвинул розовую ситцевую занавеску и стал смотреть на улицу. Она была безлюдна; свет месяца заливал ее, домишки уже спали.

За стеной у хозяина зашипели и пробили часы — я насчитал десять ударов; слышался чей-то храп и посапыванье.

Не могу выразить, до какой степени нестерпимо тянулось время — казалось, дня никогда уже больше не будет! Пробило одиннадцать, потом — через бесконечность — двенадцать. Все было тихо, не слышно было даже дыхания моего приятеля.

Что-то черное заметалось вверх и вниз в воздухе против окошка. Еще несколько секунд, и оно прилипло снаружи к стеклу и мягко потрепетало по нему распластанными крыльями.

Летучая мышь! — пронеслось во мне соображение.

И в то же мгновение крылатое существо повернуло ко мне голову, оскалило зубы и засмеялось.

Ужас охватил меня. Я откинулся назад, за косяк окна, и когда несколько опомнился — на стекле уже ничего не было.

Мой спутник простонал во сне; я овладел собой, подошел к нему и положил руку на пылающий лоб его.

— Спи. Спи, — повелительно сказал я, не снимая ладони.

Он задышал ровнее и не просыпался до света. А я всю ночи провел на стуле, ожидая нападения, но его не последовало; на рассвете мы благополучно попали на поезд.

Вернувшись домой к себе в Рязанскую губернию, я с величайшими предосторожностями проявил снятые с Варвары негативы и, можете себе представить, ни на одном она не вышла! Прекрасно удались церковь, кладбище, развалины, а вместо ведьмы на всех четырех снимках красовалось по серому пятну!

— Ну и что же? — спросил один из слушавших. — Тем ваше приключение и закончилось?

— Не совсем, — ответил Павлищев. — Однажды я почему-то задумал осмотреть погреб. Отворил дверь и вошел. И в ту же минуту наверху что-то крикнуло, зашуршала и посыпалась земля; я почувствовал тупой удар в голову и

повалился в яму; падая, я так же ясно, как сейчас всех нас здесь, увидел среди темноты светящийся овал я в нем хохочущую, рукоплещущую мне Варвару.

Меня вытащили в глубоком обмороке. Обрушились на меня две толстые доски с потолка и целая грудa земли. Добавлю, что ко дню этого происшествия я уже и думать забыл про свою встречу с Варварой и про ее обещание «пошутить» надо мной.

От этой шутки у меня остался навсегда шрам на затылке. И с этих пор я глубоко верю в существование злых и добрых сил и в их влияние на человека.

РИЖСКИЕ ЛЕГЕНДЫ

ПРИКЛЮЧЕНИЕ С МУЗЫКАНТОМ

— Верите вы своим старикам, или нет — не знаю: нынче ведь все по-особенному на свете пошло! А мы своим верили и послушать их любили — видели они и слышали на своем веку много побольше, чем мы с вами и истории тогда приключались на удивление! Вот, к примеру сказать, что я слышал от своего деда, а ему его дед рассказывал — стало быть, речь не о близкой старине идет!

Вы-то этого уже не помните, а раньше там, где теперь нынешняя самая главная, Александровская улица находится, шоссе Петербургское пролегало, а вдоль него по пустырю домишки старенькие были разбросаны; о Новой Гертрудинской церкви и думы еще не было — на месте ее колодец находился и колоды для водопоя стояли. Около них кузница гремела-работала, а дальше леса уже начинались, а какие они в старину были, — глухие да темные, — помнить не приходится!

Где теперь мост над железной дорогой выведен, там глубокий овраг шоссе рассекал, речонка в нем протекала узенькая; нынче о ней и помину нет, а в те годы мост деревянный через нее был перекинут; для проезда царицы Екатерины каменный сделали.

Рядом с оврагом корчма длинная приземистая находилась, в глухом месте стояла, а всяким людом всегда была набита; частенько в ней и танцы затевались. Крылечко — сказывал дед — у нее замечательное было — навес на столбах и дикий виноград по ним под самую крышу взползал; а осенью весь дом будто пламенем бывал охвачен.

И вот однажды, в конце августа месяца, в корчме за праздновались до самой ночи; посетители глянули в окна и поспешили разойтись. Стали собираться по домам и музыканты.

Вышли они со своими инструментами на улицу — темно, ветер в листве шумит, на небе ни звезды — один узенький серп месяца смотрит.

Попировали музыканты достаточно, особенно один, тот, что на спине контрабас нес.

Были они все из одной деревни, а дорог туда вело две — одна обыкновенная проезжая, но кружная, а другая тропочка. Остановились приятели у перекрестка, контрабас и заявляет:

— Я братцы, тропой дойду — устал очень, а здесь вдвое ближе выйдет!

У другого скрипка под мышку засунута была. Он свободной рукой придержал на себе шляпу от ветра и спрашивает:

— С ума ты сошел, что ли? Разве можно тут ночью ходить?

— А почему бы нельзя?

— Иль тебе память вином отшибло, что ли? С бедой с какой-нибудь хочешь повстречаться?

— Не боюсь я вашей нечистой силы... бабьи сказки все! — ответил контрабасист. — Дураков много развелось на свете, вот они всякие пустяки и трезвонят!

— Ну, коли ты так умен, так и иди один!.. — заявил третий, тот, что с кларнетом был.

— И проваливайте, трусы!.. — сказал контрабас. — А что я нынче раньше вас на час спать лягу — это вернее верного!

— Ой, не дури!.. — повторил скрипач. — И смотри, буря ведь начинается!

Ветер в них и вправду песком бросил и листву опавшую взвихрил.

Контрабас пошатнулся, словно огромный аист, отмахнулся рукой, будто носом, и исчез в потемках.

Товарищи его постояли, послушали, посмотрели ему вслед и пошли своим путем.

Тропка вилась узкая, едва приметная; лес ревел и перекликался, вершины деревьев мотались как бешеные; за спиной музыканта лапы елей, будто смычки, изредка проводили по струнам контрабаса и он издавал «зум-зумс».

Музыкант озирился несколько раз; различить что-либо было невозможно, но человеку с мухой, конечно, море по колено, а как стал хмель из мозгов улетучиваться — жуть начала забирать. Остановился он, не знает, что делать —

вперед ли идти, назад ли бежать? Повернулся — ан тропы позади уже и приметы нет — ели одной сплошной черной стеной встали. Ветер сразу стих, тишина наступила, опять дорожка наметилась.

Поостыл страх у контрабасиста, опять двинулся вперед. Видит — светлей сделалось, будто сияние какое-то за деревьями раскинулось. Сделал он еще несколько шагов — поляна ярко освещенная открылась, на ней дуб большой, раскидистый, а близ него костер огромный пылает, языки огня в самое небо взметываются. Народа на поляне видимо-невидимо; все разряженные, веселые. А вокруг дуба пляс, смех, говор, скрипка пиликает, кларнет дудит.

Понять ничего не может контрабасист — стоит, только диву дается — везде знакомые лица, все спешат к нему, здороваются, радуются, а где он видел их — не может вспомнить, только глаза у всех какие-то необыкновенные были. Больше всех одна девица высокая, краснощекая веселилась — нарасхват ее парни приглашали и кружились с нею как бешеные.

Глядит контрабасист и глазам не верит — навстречу ему из толпы оба его товарища — скрипач и кларнетист бегут.

— Что, обогнал нас?! — с хохотом закричал кларнетист.

— Наконец-то, приплелся! — поддержал скрипач. — Мы уже давно тебя здесь ждем!

— Без контрабаса музыка не в музыку... — заявили несколько голосов. — Становись скорей играть!

— Нет, погодите! — возразил кларнетист. — Пусть и он сперва с Лизой потанцует!

Не поспел он инструмент свой снять — красавица уже тут как тут; подхватила музыканта под руку и понеслись оба как в вихре: скрипка и кларнет залились на весь лес. Радостно сделалось контрабасисту, за облака, казалось, взлетел бы со своей дамой!.. Танцевал до одури, пока из сил не выбился и ее другой танцор из рук у него вырвал.

Отдышался музыкант и взялся за контрабас. Заухал он, загудел и уж тут веселье началось настоящее.

И все богатый и тароватый народ был — то один, то другой целые пригоршни денег в карманы ему совали, благо-

дарить не поспевал. Стало ему совсем неважно, забрался он под дуб. а там дупло было: затиснулся музыкант в него, свернулся калачиком и заснул сразу.

Долго ли он спал — определить нельзя. Неловко, что ли, сидеть в дупле сделалось, только открыл он глаза и никак не мог сообразить — где он.

Поопомнился малость, выглянул наружу — лес кругом. светать начинает, тишина, ветка нигде не хрустнет, нигде ни души. Выбрался музыкант из своего убежища и думает — сон ли ему такой чудной приснился, явь ли была?

Видит — кострище большое, пеплом подернутое, тлеет, а кругом него земля вся будто заступом взрыта; присмотрелся ближе — следы как будто человеческие, бесчисленные.

— Ну, стало быть, не сон был... — решил контрабасист и обрадовался — вспомнил. что денег ему ночью давали.

Сунул руку в карман, потом в другой — а там листьями сухими полно — он и рот разинул.

— Ну! — подумал: — это, наверное, меня вчера пьяного обобрали!

В это время ворона над ним закаркала. Поднял он голову — видит, две их низко на ветке сидят, глазами посверкивают, а между ними длинный мешок, наполовину черный, наполовину зеленый, на веревке висит. Подошел музыкант ближе, да как шарахнется назад, как пустится бежать! О контрабасе и память из головы вылетела: то, что он за мешок счел, женщиной повешенной оказалось — той самой, что ночью с ним танцевала!

Примчался он опрометью в деревню, народ, конечно, сей час же собрался; узнали, в чем дело, на смех музыканта подняли: ни одна душа из деревни ночью в лесу не ходила и ни о каких танцах под дубом не слыхивала.

— Здорово, должно быть, ты вчера муху урезал! — сказал один из парней, тоже любитель выпить. И только он эти слова вымолвил — скрипач с кларнетистом на улице показались.

— Вот вы их спросите! — закричал контрабасист. — Они вместе со мной всю ночь играли под дубом!

Те и глаза выпучили. Ни на каком празднике они не были, а вернулись благополучно по домам и сейчас же спать завалились — их и домашние видели.

— А Лиза, братцы, где же?.. — вспомнил кто-то. В толпе ее не было.

Пошли все гурьбой к ее дому, а там тревога: девушка еще накануне ушла и ночевать не вернулась. И задумчивая такая была в последние дни, побледневшая.

Народ к дубу повалил. Глядь — висит она на суку и стая ворон ей плечи и голову обсели, дерутся за нее — крик и драка издалека слышны были: самоубийством с собой покончила!

Поняли тут люди, кому контрабасист ночью играл и отчего глаза у его знакомых остекленные были: с мертвецами он здоровался!..

Вот какие дела в старости здесь приключались! Нынче уже лесов прежних нет и дуб давно срублен и на поляне дачи настроены, а вместо Бога в радио веруют. И что же при таком расположении вещей хорошему человеку ждать?

БУРЯ

Рассказ из прошлого Риги

Стоял февраль месяц 1908 года. Дома мне отчего-то не сиделось: я ощущал легкое, беспричинное беспокойство, мешавшее заниматься. Это чувство я испытывал не впервые и знал, что лучшее лекарство от него — прогулка, и вышел на улицу. Сразу охватил снежный хаос; мела пурга, было уже довольно поздно и прохожие намечались только кое-где; мутно светили оледенелые фонари.

Я свернул на Александровскую улицу и медленно побрел по ветру: — я бесконечно люблю ночные метели в городах, когда все видится и чувствуется по-необычайному, придвигается потустороннее...

Я миновал мост, свернул в закоулок, в другой и когда огляделся, увидал, что нахожусь среди спутанного клубка совершенно пустынных и темных улочек; очевидно было только одно — что я где-то в Старом городе, но где именно, — не мог себе представить.

Встречных не попадалось ни души: бесчисленные рати белых привидений бросались на меня на перекрестках, осыпали снегом, взметывались выше острых черепичных кровель домов и с воем уносились дальше.

В вышине что-то протяжно заскрипело; в то же время ветер разорвал крутившуюся сетку пурги и на очистившемся сизом клочке неба очертилась вся задымленная снегом, многоярусная мощная башня св. Петра; рядом со мной, черной дугой, выгнулась низкая арка и я сообразил, что нахожусь у церковных ворот. За ними, между двумя стенами, тесно зажался крохотный домик моего давнего приятеля Христиана Ивановича.

Меня потянуло посидеть у него; я вышел из-под ворот и очутился перед его жилищем; в оконцах света не было, но я знал, что свои одинокие вечера Христиан Иванович

коротает, склоняясь над рукописями, в задней комнате, более просторной, чем две остальные, смотревшие на проходной двор.

Звонка у входа в дом Христиана Ивановича не полагалось: его заменяла чугунная рука, державшая шар, и я ударил им по скобке и прислушался.

Прошло несколько минут и за занесенной снегом дверью зашаркали туфли и стали спускаться по лестнице; в зарешеченное отверстие блеснул огонек, показался настоженный глаз.

— Кто там? — спросил знакомый голос.

Я назвал себя и дверь открылась.

Передо мной стоял высокий, худощавый человек со свечой, поднятой над головой...

— Однако и занесло же вас... белый верблюд совсем!.. — сказал он, впустив меня и плотней запахивая на тощей груди коричневый халат с зелеными обшлагами.

— Извините, что потревожил вас в такую погоду!

Я отряхнулся и вслед за светившим хозяином поднялся по крутой деревянной лестнице во второй этаж. Приятно обняло теплом, окружили тесно стоявшие и друг на друга наваленные старинные, еще живые друзья уже умерших людей — книги, мебель с тисненой кожей, хрусталь, чуть мерцающий сквозь покров пыли; крохотное свободное местечко занимал на середине пола маленький, резной черный стол; на нем над раскрытой рукописью горела керосиновая лампа с зеленым абажуром.

К столу была прислонена длиннейшая голубая трубка, вся вышитая бисером.

Мы опустились на жесткие кожаные кресла времен рыцарей; Христиан Иванович взял трубку и сделал глубокую затяжку.

— Я думал о вас и вы пришли... — заговорил он, и в серых, острых глазах его почудилось какое-то беспокойство. — Очень рад, что в эту ночь вы со мной!.. — он слегка пожал мою руку, лежавшую на краю стола, и опять вскрикнул трубкой; сивые волосы на его голове торчали в разные стороны и, казалось, тоже претерпели метель; круглое, как

мячик, лицо, давно не выдавшее бритвы, заросло перепутанным репейником.

Христиан Иванович был глубоким мистиком, потому слова его меня не удивили.

— А зачем я вам понадобился? — спросил я.

— Сегодня особенная ночь! — ответил он.

— Чем же именно?..

Мой собеседник молча указал узловатым пальцем на развернутую рукопись и передал ее мне.

Глянули крупные, порыжелые буквы; надпись гласила: — «Анно Домини 1428»... Над нею двумя неровными чертами был сделан большой крест. Далее следовали краткие записи о событиях в городе Риге.

Я стал пробегать их, а хозяин то исчезал, то выявлялся из дыма и молча следил за выражением моего лица. Заметки были краткие, но любопытные и касались главным образом вечных распрей города с орденом Меченосцев. Рыцари добивались подчинения себе архиепископа, т. е. полной власти над Ригой; упрямые ратсгеры и горожане добровольно не уступали Ордену решительно ни в чем и наконец произошло неслыханное событие.

В январе месяце названного 1428 года в Домской церкви было назначено собрание для разбора какой-то новой претензии и жалобы Ордена на рижан; храм был переполнен горожанами и рыцарями; заседание происходило особенно бурное; раздраженные стороны осыпали друг друга укорами и дерзостями и вспылчивый гроссмейстер Ордена Зигфрид фон Спонгейм обнажил меч и в бешенстве кинулся на хладнокровно председательствовавшего ратсгера.

Бюргеры заслонили его и предотвратили кровопролитие в святом месте.

Умный и просвещенный архиепископ Генинг Шарценберг в том же январе созвал «провинциальный» собор и это собрание вынесло ряд важных постановлений, нанесших сильный удар рыцарям.

Среди прибывших на собор Рига увидела епископов Дерптского и Эзельского и празднества и пиры в честь гостей продолжались несколько дней.

В противовес рыцарям, всегда закрепощавшим крестьян, был принят целый ряд мер, облегчавших положение латышей и признававших за ними все права. Сверх того, было постановлено отправить посольство к самому Папе с подробным донесением о насилиях и обидах, чинимых Орденом духовенству.

Посольство выступило в путь в половине февраля месяца и к нему, в видах большей безопасности, примкнули шестнадцать юношей знатнейших фамилий; Рига почувствовала веяние Ренессанса и впервые послала свою лучшую молодежь в Италию для завершения образования.

Толпа родных, знакомых и зевак далеко проводила длинный поезд возков, вытянувшийся на замерзшей Двине; на строение у уезжавших было радостное и бодрое, но часть остававшихся на родине хмурились: просочился слух, будто в ночь перед отбытием посольства сторожа слышали, как на башне св. Петра сам по себе зазвучал погребальный колокол; в него звонили только во время шествия осужденных преступников к месту казни.

Еще хуже было другое предзнаменование: при спуске поезда с ратушной площади на Двину, дорогу ему пересек пьяный городской палач, кривой Иеронимус Вурм, несший под мышкой длинный и широкий меч для предстоявшей ему в тот день работы.

Далее в рукописи стояло:

«18 февраля. В соборе идет зауспокойная месса, улицы полны взбудораженными горожанами; ночью на взмысленных конях прискакали трое всадников с вестью о гибели посольства; мерно и медленно звонит на башне св. Петра колокол.

19 февраля. Бедственное происшествие выяснилось: близ Лива-озера рыцари под предводительством комтура Госвина фон Ашенберга напали на поезд, ограбили, а частью перебили его и отняли все документы, предназначавшиеся Папе. А шестнадцать человек защищавшейся молодежи были спущены под лед в проруби и утоплены. Господи, прими их души!..»

Под 1438 годом стояло: «Сего числа служили в Домском соборе траурную мессу по погибшим десять лет тому назад членам посольства к Папе. Весь город в черном.

А с того ужасного злодеяния в семнадцатый день февраля каждого года со стороны Ливского озера ночью стала налетать жестокая буря; с воем и визгом бросалась она на стены и башни города и души погибших рвались в ворота и стучали в окна своих домов...»

Я вздрогнул и прервал чтение: в раму окна глухо ударил ком снега; слышно было, как что-то припало к крыше, потом бросилось к трубе, застонало над ее отверстием и, плача, унеслось дальше.

— Что это?.. — невольно спросил я. — Кто-то кинул снежком?

Христиан Иванович молчал и продолжал завешиваться облаками дыма.

Я встал и пробрался к окну. Не было видно ни зги; метель бушевала по-прежнему.

— Сегодня семнадцатое февраля... вот почему я вызвал вас! — проронил мой приятель. — Слышите звон на св. Петре?

— Это воет метель! — ответил я. — Кому охота лезть ночью на такую вышину?

Христиан Иванович напряженно прислушивался. — «Звонит!..» — убежденно подтвердил он.

Я почти припал ухом к стеклу, изукрашенному морозными завитушками: кроме звуков бури, ничего иного не доносилось.

— Звонит ... звонит!.. — возбужденно повторил он. — А если вы не слышите, значит, он относится только ко мне!

Мне сделалось жутко: почудилось, что передо мной, сгорбась, сидит выходец с того света.

— Все мы только призраки!.. — ответил он на мою мысль, — и все живые существа, и вся земля, и небо — не то, чем кажутся! Жизнь — это великий маскарад. Смысл его слишком громаден и непонятен для нас, и кто дерзает, тот рушится первый!

Беседа наша дальше вязалась плохо и, когда я вскоре простился с притихшим приятелем и вышел из душного домика на свежий воздух, свершилось чудо: стояла прекрасная, светлая и тихая ночь; на прозрачной синеве неба плыл месяц, опалом и перламутром отливали окна и только закутавшиеся в плотные, белые покрывала дома свидетельствовали о только что творившемся хаосе.

* * *

Дела заставили меня уехать на довольно продолжительное время и, когда я вернулся и собрался навестить Христиана Ивановича — домик его я нашел опустевшим; вещи, наполнявшие его, все исчезли и только места картин и разных древних предметов на облепленных и покрытых пылью и паутиной стенах свидетельствовали, что там не очень давно обитал думающий и пытливый человек.

Соседи сообщили мне, что старый чудак исчез еще в конце февраля 1909 года; они обратили внимание на то, что характерная, высокая фигура Христиана Ивановича уже целую неделю перестала показываться где бы то ни было и в окнах его свет не появлялся.

Запертая дверь его домика была вскрыта, но ни живого, ни мертвого хозяина не оказалось: он пропал без вести.

Весной загадка раскрылась: к берегу, у старого базара, было прибито и опознано тело Христиана Ивановича.

Как он попал в Двину, что ему почудилось — осталось неизвестным; обитатели двора уверяли, что 17 февраля видели его направлявшимся к реке в жестокую пургу: вероятно, он попал в одну из многочисленных прорубей на Двине и успокоился в ледяной могиле.

НОЧНАЯ СЛУЖБА

Рассказ

Давно, пожалуй, лет полтора-два назад в глухом углу Лифляндии, в лесном селении проживал каноник Якуб. С виду был он неприметный, простой, а слава о нем и об его набожности стлалась по всей стране. Люди называли его святым и вот что однажды приключилось с ним.

Стоял март, самый метелливый месяц в году; крыши домов обвесились ледяными сосульками, под снегом стали журчать и пробираться ручьи, дороги начало развозить, а отцу Якубу потребовалось во что бы ни стало съездить в Ригу, получить там святыне Дары и поспеть воротиться домой к Светлому дню. Пасха в том году выпала ранняя, но как на грех отец Якуб крепко прихворнул и смог пуститься в путь только на Страстной неделе и уже в самую оттепель.

Поехал он с батраком рано утром на простых розвальнях, а к закату солнца ясное небо вдруг засумеречило: Бог перину затряс, и начался такой снегопад, что даже дремучий еловый лес, стоявший по сторонам дороги, скрылся в мятущихся белых хлопьях. Лошадка поплелась шагом.

Прошло сколько-то времени, работник оборотился к своему седоку да и говорит:

— Отец Якуб, что-то черное впереди нас мелькает, уж не волк ли? И только успел выговорить эти слова — черное пятно около самых саней очутилось: оказалось человеком в легком черном плаще и в каком-то необыкновенном берете.

— Не подвезете ли меня, добрые люди? — обратился он к проезжим.

— А куда вы идете? — спросил о. Якуб.

— В Ригу! — был ответ.

Голос у незнакомца был хриплый, простуженный.

— Садитесь! — пригласил отец Якуб. — И мы туда же путь

держим!

Новый попутчик — звали его Генрихом — сел рядом с о. Якубом, закутался поплотнее в плащ и сани заскользили дальше.

Прошло с полчаса и метель так же сразу кончилась, как и началась.

Надвинулись сумерки, лес как отрезало, развернулась белая равнина; за нею, на буром небе, зачернели высокие шпили церквей и башни Риги; светились огоньки.

— Вы где пристанете? — осведомился незнакомец и не успел усталый о. Якуб ответить, как человек в плаще добавил:

— Остановитесь в Конvente — там у меня есть помещение, вам будет удобно!

Так он эти слова радушно вымолвил, что о. Якуб сразу согласился.

Город был уже совсем близко. Замелькали маленькие домики предместья, стал наматываться клубок из черных ущелий-улиц с узкими домами в два и в три этажа; некоторые окна были освещены и свет полосками падал на грязную дорогу и на бритое лицо незнакомца; оно казалось посинелым.

Сани миновали церковь св. Петра, такую высокую, что, взбираясь на нее, того гляди с Богом встретишься. Сквозь арку ворот попали на двор Конвента: там высились развалины церкви св. Георгия.

Незнакомец указал работнику на конюшню, а сам проводил гостя в свою комнату. О. Якуб умылся, переоделся и поспешил к епископу, где и сделал ему доклад и получил св. Дары; в соборе должна была скоро начаться вечерняя служба и о. Якуб отправился послушать ее. Там он опустился в сторонке на скамью, склонил голову на руки и стал молиться.

Собор тонул в потьмах, смутным пятном высился главный алтарь; поодаль, в стороне, белел гроб Господен, сложенный из плит; вверх струились желтые огоньки нескольких свечей; будто маски смотрели со всех сторон многочисленные лица прихожан.

Нездоровье ли, долгий ли путь утомили о. Якуба, только через несколько минут он уснул.

— Ваше преподобие? — услышал он чей-то отдаленный зов; он приподнял отяжелевшую голову и различил бритое лицо нагнувшегося над ним церковного сторожа.

— Служба кончилась, пора церковь запирать!

О. Якуб повел кругом недоумевающими глазами: скамьи пустовали, кругом не было ни души. Горевшие около гроба свечи лили трепетные тени и свет на деревянное изображение тела Христа; костлявые руки и раскрашенное лицо Его были мертвенны и страшны.

Каноник встал, преклонил перед алтарем колена, потом во второй раз перед гробом и вышел на тесную площадь.

Не было видно ни зги, не светилося ни огонька; в выси, на железном шпиле собора, слегка поскрипывал жестяной петух. Отцу канонику показалось, будто бы этот петух вдруг затрепыхал крыльями и прокричал ку-ка-ре-ку.

— Жар у меня, почудилось мне! — подумал о. Якуб, ощущал горевший лоб и стал пробираться дальше; несколько раз он наткался на кучи конского навоза, чуть не упал через выброшенное, негодное ведро и бережно придерживал одной рукой святые Дары за пазухой, а другой ошаривал стены домов. Миновав одну улицу, он свернул на другую и вдруг будто звездочки рассыпались впереди него на земле.

О. каноник остановился; час был поздний, между тем, показалось множество горожан; из боковых улиц выступали все новые и новые люди; огоньки ручных слюдяных фонарей неясно выявляли из темноты странные, отороченные мехом длинные и широкие одежды, бородатые лица, плоские, широкие береты; на шеях висели золотые цепи; на женщинах, будто сахарные головы, высились островерхие колпаки; всех облегали тяжелые бархатные и шелковые платья; в руках виднелись молитвенники. Особенно бросались в глаза несколько белых рыцарских плащей с красными крестами.

С недоумением глядел о. Якуб на загадочных людей, окруживших его; все шли важно и безмолвно; слышался шелест ног; откуда-то наплывал мягкий, призывный звон ко-

локола.

Показались низкие своды ворот Конвента; в них вливался народ; вслед за другими каноник попал во двор и тотчас около него оказалось улыбавшееся синее лицо подвезенного им человека.

— Ждем вас! — заявил он. — Вы должны сейчас отслужить для всех нас ночную мессу; святые Дары при вас?

— Но у меня нет с собой чаши? — возразил каноник.

— Она имеется! — был ответ. — Вы возьмете ее себе за вашу службу!

— Где же я буду служить? — спросил о. Якуб. Глаза его расширились и приковались к месту, где еще сегодня находились остатки церкви св. Георгия; их не было и тени: стрельчатый храм стоял весь целый и невредимый; из высоких окон от множества свечей исходил яркий свет; двери были распахнуты настежь, двор и церковь переполняли богомольцы.

Дорожный товарищ о. Якуба провел его сквозь расступавшийся народ в ризницу; их встретил высокий закристиан в белой накидке и помог отцу Якубу облачиться в кружевной стихарь; каноник взял чашу, указанную ему в нише стены, положил в нее св. Дары и, став на ступенях перед престолом, высоко вознес Дары и благословил ими собравшихся.

Орган загремел Те-Деум; мощный хор человеческих голосов покрыл его. Началась торжественная служба.

Неизъяснимая радость и страх проникали в сердце каноника: на его глазах произошло великое чудо — воскресения развалин; значит, Бог прошел близко мимо них! Никогда так жарко не молился о. Якуб. — «В полночь встаю, чтобы славить Тебя» — вспомнились ему слова из псалма Давида и он чувствовал, что стоит на пороге смерти: сердце едва выдерживало неземную радость, овладевшую им.

Богослужение подходило к концу. Будто сон долетело второе пение петуха; свечи оплыли и превратились в огарки; храмом овладевала темнота, звуки органа замирали, лица молящихся начали таять, делались все прозрачнее; сквозь передних людей можно стало различать находившихся по-

зади.

Один старик, с длинным голым черепом, орлиным носом и с начерченными усами приковал к себе на миг внимание о. Якуба; усач также начал растворяться в легкий туман и только клюв носа упорно и резко очерчивался сквозь головы ближайших людей.

С треском погасла последняя свеча и все погрузилось во тьму; мутный свет сверху наполнил храм. О. Якуб поднял глаза и увидел, что своды исчезли и их заменило синее небо; не стало ни алтаря, ни икон, ни статуй; пол покрывали разбросанные камни, в углу росли кусты и тощие деревца. Из-за остатка колонны выглянула чья-то лобатая голова.

— Позвольте, я вас провожу? — произнесла она и к отцу канонику протянулась непомерно длинная костлявая рука; из впадин глаз исходило пламя.

Весь трепеща, о. Якуб отшатнулся в сторону и перекрестил чашей с Дарами чудовище; оно застонало, согнулось, аршинные пальцы его врылись в землю и вдруг оно превратилось в длиннорогого козла и бросилось в ближайший куст. Стая ворон с криком заметалась над о. Якубом; он, весь облитый лунным светом, с блистающей чашей в руке недвижно стоял среди развалин.

Захлопал железными крыльями и в третий раз закричал петух, и все разом стихло.

Светало.

Башня св. Петра четко выделялась на бледном небе; на петухе розовел заревой отсвет. Не было слышно и видно ни души; строения конвента спали: путь о. канонику был свободен.

Сам не помня как, он выбрался на двор и только тогда ощутил, как он разбит и измучен; он узнал дверь в свою комнату и отворил ее; она ржаво проскрипела. Чашу со св. Дарами каноник поставил на табурет рядом с постелью, повалился головой в подушку и разом потонул в полном небытии...

Не то прикосновение, не то зов пробудили о. Якуба. С трудом он открыл веки и увидел своего батрака; из-за плеча его выглядывало бородатое лицо незнакомого кнехта, оде-

того в длинную баранью шубу. Свет чуть брезжил в комнате через единственное маленькое оконце, затянутое паутиной и пылью; пахло сыростью, прелью, давно необитаемым местом.

— Вставайте, ваше преподобие, — говорил батрак. — Время ехать нам!

Каноник сел и увидел, что на подушке, на слое пыли, отпечаталось его лицо; отец Якуб потрогал наволочку и она расплзлась от прикосновения пальцев.

Сторож подошел под благословение и о. Якуб спросил, где он находится...

— Да я и сам дивлюсь, как вы сюда попали! — ответил сторож. — В комнату эту лет сто, а то и больше никто не входил: с тех пор, как в ней задушила нечистая сила бюргера Генриха. Сказывают, душа его доселе появляется в этой коморке и в развалинах.

Все трое перекрестились. Внимание о. Якуба привлек блеснувший предмет, стоявший на табурете. Каноник нагнулся и узнал чашу, с которой он служил ночью. Она была из золота и такой замечательной художественной работы, какой о. Якуб еще и не видывал.

Каноник осведомился — встал ли его дорожный товарищ Генрих.

— Такого у нас нет! — возразил сторож.

Каноник описал его наружность.

Сторож отступил назад и перекрестился.

— Господь с вами, ваше преподобие! — со страхом произнес он. — Да это же тот самый бюргер, который погиб здесь!

— Вот оно что! — отозвался о. Якуб и, не вдаваясь ни в какие дальнейшие рассуждения, приказал запрягать лошадь.

*

До самой смерти своей о. Якуб не открыл никому тайну о ночной службе для привидений и только на духу поведал, что с ним приключилось. Золотая же чаша — дар мертвецов — была им отослана римскому папе.

ЧЕРТ В РИГЕ

Легенда

— Способен ли злой дух делать добро?

Этот, по виду праздный, вопрос долгое время занимал умы схоластов средневековья, но многотомные труды их остались бесплодными и мудреный вопрос так и застыл открытым. Ответ на него, и притом исчерпывающий, дает одна рижская легенда, которую я и излагаю ниже.

*

Вся опушенная и занесенная снегом стоит над сверкающим и широким простором Двины молодая Рига. Золотыми лучами вонзаются в белые облака высокие шпили соборов; будто тесные толпы любопытных, выглядывают из-за бурых стен города верхние этажи домов; между ними путаются и вьются узкие извилины улиц.

Вечерело. Белая риза Двины опестрилась нежными розовыми пятнами; по ту сторону ее, под дремучим бором, пролегли густо-синие тени. И нигде — ни на реке, ни у леса не виднелось ни души; только вороны черными стаями тянули по бледной зелени неба: был канун Рождества и горожане собирались идти в церковь. А так как всякому доброму христианину достоверно известно, что на первые три дня этого праздника черти получают отпуск на землю, но не смеют творить пакостей и даже проронить хотя бы слово, то делается понятным, почему соборный звонарь, отец Себастьян, беззаботно подымался по крутой и полутемной коленчатой лестнице на колокольню.

Несколько раз он садился на ступеньку и отдыхал и тогда бережно извлекал из глубочайшего кармана коричневой рясы глиняную сулею и погружал в нее синебагровый нос; с середины лестницы о. звонарь начал уже петь что-то

совсем не походившее на молитвы и, когда добрался до верхнего яруса, то вид имел достаточно блаженный; было как раз время звонить к службе. о. Себастьян взялся за веревку и вдруг распознал, что на балке, на которой висел колокол, сидит, тесно прижавшись друг к другу, кучка маленьких чертенят мышиного цвета, очень напоминавших не то сов, не то обезьянок.

— А вот и не смеете меня тронуть!! — произнес о. звонарь и упер руки в бока. — А вот я и не упал на лестнице!.. Кши вы, паршивцы!!

Он поднял лежавшую на полу метлу и замахнулся, но удар пришелся мимо, по балке; чертики не шелохнулись и только распушились еще более; желтые глаза их, не мигая, смотрели на монаха. Не успел он размахнуться во второй раз — будто дымки вспыхнули на балке и исчезли; остался только один чертенок; он с необычайной ловкостью перескочил на перила, оттуда на крышу, покувыркался в снегу и, словно на салазках, влетел на собственной спине в слуховое окно соседнего двухэтажного дома.

О. Себастьян долго следил за проказами чертенка со своей высоты.

— Ну, так я и знал!.. — вслух заявил звонарь: — в школу отправился! Я говорил о. канонику, что с приездом молодого учителя там завелась нечисть! А каноник смеется. Но смеяться нечему: мне-то с колокольной видней, что внизу на земле делается!

О. Себастьян навалился грудью на перила и не отрывал глаз от школы. Через несколько минут дверь ее приотворилась и появился мальчик лет шести в темной хламиде с широкими рукавами и капюшоном на голове.

— Черт!.. Держите его, ловите!! — закричал о. Себастьян, но он стоял на такой высоте, что слова до слуха людей не долетали.

О. звонарь плюнул от всей души на бестолковую землю и взялся за веревку; колокол скрипнул, качнулся раз и другой и запел звон.

Пустынные улицы оживились; млечный путь из людей и фонарей потек в собор; на площади у входа в него взме-

тывали искры и языки огня смоляные бочки; будто пожар обаграл стены и слюдяные окна домов. Над входами в погребки светились большие фонари; в распахнутые двери видны были нарядные служанки, суетившиеся между дубовыми столами и винными бочками; пылавшие как пионы хозяева в разноцветных колпаках и передниках жарили на вертелах в громадных очагах всякую рождественскую снедь: наплыв посетителей ожидался очень большой не только по случаю праздников, но еще и потому, что зима в том году стала ранняя и суровая и несколько бременских и гамбургских кораблей застряли в Риге на зимовку.

Мальчик в шлыке пробрался к паперти, заглянул немигающими глазками во внутренность ярко освещенного собора и пошел на ратушную площадь; всюду заманчиво пахло жареным. Мальчик остановился около одного из погребков и с таким вниманием уставился на румяный окорок ветчины, обложенный колбасами, будто видел его впервые в жизни.

Из соседнего закоулка показались две дамы в синих бархатных шубах и больших шапках и с молитвенниками в руках. Около них прыгал и весело лаял на всех встречных рослый мышастый дог; шага за три до мальчика он остановился как вкопанный и понюхал воздух. Шерсть на собаке поднялась дыбом, блеснули оскаленные зубы, дог попятился, зарычал и вдруг яростно набросился на ребенка; оба они покатались по снегу. Перепуганный мальчик отбивался худенькими, смуглыми ручонками; пес как бешеный рвал на нем платье, затем вцепился в шею; мальчик пискнул тоненьким, придушенным голоском... Младшая из дам бросилась спасать ребенка и с помощью прохожих прогнала собаку. Он продолжал лежать, уткнувшись черной, кудрявой головенкой в сугроб и горько всхлипывал.

— Не плачь, не плачь, маленький, хороший!.. — заговорила молодая девушка, нагнувшись над ним и осматривая следы укусов, из которых сочилась кровь. — Бедный крошка, это скоро заживет все!.

И она заботливо принялась прикладывать к местам укусов пригоршни снега.

— Довольно возиться тебе с чужими собаками и оборванцами!.. — надменно произнесла старшая дама. — Вечно из-за тебя опаздываем в церковь!

Девушка торопливо открыла парчовую сумочку, висевшую у нее на боку, и ошарила ее, но там никаких монет, кроме новенького бременского талера, не оказалось; без всяких раздумываний она сунула его в карман мальчика, ласково погладила его по жестким волосам и пустилась догонять свою высокую спутницу, величаво шествовавшую уже довольно далеко по улице.

Весь вывалившийся в снег ребенок поднялся на ноги и очутился перед плечистым худощавым молодым человеком с закрученными в стрелку усами и острой бородкой; темные волосы спадали из-под берета ему на плечи.

— Это еще что за кроха?! — воскликнул он, присев на корточки. — Кто ты, откуда? о чем плачешь?

Мальчик молчал и только прижимал ладошкой пораненную щечку. Собравшаяся около них кучка людей рассказала, что произошло.

— Ах ты, бедняга!! — воскликнул усач. — Как тебя зовут?

Ответа опять не было.

— Он не наш!.. — отозвался кто-то.

— Арабчонок, должно быть!.. наверное, с бременцами приехал да заблудился...

— Уж не немой ли он?.. — предположил другой голос.

— Немой или нет, а ночевать ему где-нибудь надо!.. — заявил усач. — Ну, араб, давай лапу и марш за мной!!

Мальчуган доверчиво подал ему ручку и через несколько минут оба они стояли на совершенно пустынной улице около узенького двухэтажного домика; усач извлек из кармана большой железный ключ, отпер дверь и они стали подыматься по почти отвесной каменной лестнице. В комнате хозяин высек огня, поджег сухие ветки, которыми был набит камин и комната озарилась светом; в ней стояли несколько глиняных головок и мольберт с начатым портретом молодой светловолосой девушки в синей шубе; на стенах висели несколько картин и лютря; простая узкая деревян-

ная кровать, такой же стол и несколько стульев составляли всю обстановку художника; среди пола валялись сапоги, постель вся была взбудоражена, как будто на ней только что окончил драку добрый десяток людей.

— Вот мы и дома! — сказал художник, потирая зазябшие руки. — Ты своего плаща не снимай. Я люблю, знаешь ли, когда в комнатах холодно!... А теперь приступим к ужину!...

Он направился в шкафчику, придвинутому к камину, покопался в нем, бормоча и пожимая плечами, и наконец обрадованно воскликнул — «эврика!»: в руке у него оказались два яйца и ломоть хлеба. Он разделил все найденное поровну и отдал половину мальчику. Тот проглотил яйцо с такой жадностью, что хозяин не успел поднести своего к губам и застыл с раскрытым ртом.

— Однако!! — проговорил он и с вожделением перевел взгляд на свою порцию: секунда колебания и он переломил яйцо и протянул большую часть его маленькому гостю. — Я, знаешь, что-то совсем сыт: я великолепно пообедал вчера у одних знакомых!.. Слышишь, какой обед в животе бурчит?.. — и он, опасаясь своей щедрости, поспешно запихал в рот остатки еды.

— Так ты совсем не можешь ничего говорить?.. — невнятно начал опять художник с набитым ртом; диковинно закрученные усы его шевелились как у таракана. В глазах мальчика мелькнула лукавинка. Он протянул ручонку к художнику и прикоснулся к усу его.

— Гам!! — совсем по-собачьи рывкнул хозяин.

Мальчик в испуге откинулся назад, но увидел козу, сделанную из пальцев художником и шествовавшую через стол бодаться, и засмеялся; смех его напомнил писк стрижа.

— Занятный ты малый!.. — проронил художник. — Однако, черт возьми, камин гаснет и становится холоднее. Надобно в лес за дровами съездить... у меня есть неподалеку собственная роща, да снег глубокий!..

Он поднялся и вышел в соседнюю комнату; через минуту он вернулся, таща пару тяжелых стульев. Расшибить их об пол было делом двух взмахов и куски дерева отпра-

вились в камин. Мальчик усердно помогал собирать щепки и кидал их туда же. Огонь быстро охватил сухое дерево и комната сразу наполнилась теплом.

— Вот теперь, если бы у нас было доброе пиво и хозяйка, мы бы до утра пробеседовали бы с тобой по душам!.. Впрочем, ты немой, но это ничего не значит: мне нужны слушатели, а в болтунах я не нуждаюсь! Ложись спать, дружок, на мою кровать; хоть ты и легок, но нас двоих она все же не выдержит! Я привык начинать ночь на постели, а просыпаться на полу: это разнообразит жизнь! А я посижу у огня и расскажу тебе, отчего я сегодня выпил лишнее!

Он уложил мальчика на постель, прикрыл его одеялом, а сам передвинулся к камину и вытянул длинные ноги на другой стул. Мальчик, не моргая, глядел на него; откуда-то из угла появился пушистый черный кот, вспрыгнул на кровать и, мурлыкнув, стал ласково тереться мордочкой о щеку немого.

— Ты еще не знаешь, малыш, что значит влюбиться!.. — начал художник. — Это значит сделаться бараном, ослом, идиотом с пшенной кашей вместо мозгов! Вот и я попал в это благородное состояние! Что поделаешь: все мы ругаем женский пол, а чуть появится хорошенькое личико — и капут: вози на нас хоть воду!

И все бы ничего: и Лотхен меня любит до того, что видеть не может и я у ее ног, но я беден, как крыша на цапле... я хотел сказать — как цапля на крыше!.. Когда я расстроен, я всегда выражаюсь наоборот! А она единственная дочка богача-растгера Эйзенберга, важного, как бочка, и умного, как два свиных окорока. И он вчера заявил мне, что пока я не принесу ему тысячу талеров и не привяжу свой язык покороче, он запрещает мне даже упоминать о Лотхен!.. Кажется, талеры принести ему все же будет мне несколько легче!..

Легкий храп со стороны кровати заставил его оглянуться: мальчик сладко спал, подложив под смуглую мордашку ручонку. Художник безмолвно посидел несколько минут, затем такое состояние показалось ему нестерпимым; он встал, снял с деревянного гвоздя лютню, накинул плащ и

на носках выбрался на улицу. Серо-синее небо усеивали яркие звезды; окна всех домов были освещены, искрился и хрустел под ногами снег.

Только что художник запер дверь — что-то мягкое и теплое уцепилось за его палец; он остановился и увидел обращенную к нему довольную рожицу мальчика.

— Ты как проскочил?! — возопил художник. — Ведь ты же спал, шельмец!

Отзыва, конечно, не было; не выпуская художника, мальчик потащил его за собой и остановился у каменной лесенки, уводившей в обширный погребок, полный посетителей; из распахнутой двери вырывался говор и шум, запахи стряпни; над входом висела вывеска с изображением белого оленя.

— Для твоих лет познания у тебя обширные! — заметил художник. — В «Белом олене» кормят хорошо и можно с толком провести время: заморское купечество любит коротать тут время за игрой в кости и в чет и нечет! Сыграть нам с тобой, конечно, не придется, но за песню нас угостят сытным ужином и хотя бы цельной бочкой пива!

Мальчик протянул ему что-то крепко зажатое в кулачке.

— Талер?! — гаркнул на всю улицу изумленный художник. — Ты владелец такой суммы? Спрячь его хорошенько, дружок! — Он хотел возвратить монету, но мальчик заложил руки за спину и отрицательно потряс головой.

— Чудеса!!.. — талеры стали расти на улицах как грибы!! — пробормотал художник. — Ну хорошо, я беру его у тебя на хранение и потому угощу тебя лукулловым пиром; сегодня обойдемся без песен!

Вместе с семенившим рядом с ним мальчиком, художник спустился в погребок и морозный воздух и тени ночи сразу сменились теплом и светом; пылал очаг, на стенах горели сальные свечи.

Художник выбрал местечко, откуда было видно все происходившее в погребеке, заказал, чтобы «не мазаться с пустяками», целого поросенка, гуся и пива и в расплату кинул кокетливой служанке на поднос талер. Она принесла сдачу и наевшийся до одышки художник небрежно сунул деньги

в карман.

— А знаешь, я, кажется, сыт? — произнес убогатворенный художник. Он икнул и отодвинул от себя оловянное блюдо с оставшимися костями. — Теперь попробуем с тобой счастья на игорном турнире, но сначала подсчитаем наше вооружение!

Он запустил руку к себе в карман и вытащил пригоршню мелочи; среди нее белел новенький бременский талер.

Художник вытаращил глаза, поднес его к самому носу, попробовал зубом — монета была настоящая.

— Неразменный талер!! — сразу охрипнув, сказал он. — Пойдем, испытаем его еще раз!

Оба встали и начали пробираться среди столов и бочек в дальний угол, где шла крупная игра.

Художник бросил свой талер на середину стола и выиграл: поставил два, потом четыре, потом восемь — ставки все удваивались и счастье неизменно было на стороне художника. Скоро перед ним вырос на столе целый холм из серебра и золота: расстроенные, бледные и побагровевшие игроки спустили все, что имели и понемногу стали бросать игру.

— Баста!.. — закричал, наконец, художник и с помощью мальчика принялся набивать свои и его карманы деньгами. Дома он разделил пополам всю добычу, но мальчик отодвинул свою долю обратно и не взял даже чудесного талера.

Ночью художник бредил игрой в кости и до того вошел в азарт, что свалился со стула на пол, что не помешало ему проспать до утра как на перине.

На другой день уже весь город толковал о громадном выигрыше художника Антониуса и нечего распространяться о том, с каким почетом были приняты он и его безотлучный маленький спутник, принесшие не тысячу талеров, а целых две. Немой переходил с рук на руки от художника к Лотхен и их родственникам; все наперерыв ласкали его, всякому хотелось поддержать такого счастливчика: счастье ведь заразительно! Пир шел горой с музыкой и танцами и много десятков лет спустя Рига помнила торжественное обру-

чение у растгера Эйзенберга.

Наступил третий день Рождества; радовавшийся всему малыш вдруг притих, сделался грустным и что ни придумывали жених и невеста, чтобы развеселить своего друга — все оказывалось тщетным. А время неуклонно передвигало узорные стрелки часов и незаметно наступила ночь, прозрачная и тихая; потоки горожан, гулявших в ожидании торжественной поздней мессы, заполнили улицы; наконец, загудели колокола города, призывая к богослужению.

— А где же наш немой?.. — вдруг спохватилась Лотхен, шедшая под руку со своим усатым женихом; оба всполошились и стали оглядываться, но мальчика видно не было; он отыскался у наружной боковой стены собора: будто тень, он стоял, плотно прильнув к ней, и напряженно слушал громы органа, сменявшиеся нежными голосами певцов.

Заметив своих друзей, мальчик бросился им навстречу и стал ластиться то к одному, то к другому.

— Что с тобой, крошка? — заботливо спросила Лотхен, — отчего ты весь дрожишь?

Художник подхватил его на руки и изумился: мальчик казался почти невесомым; круглые глазки его с тоской переходили от лица Лотхен к Антониусу; темные ручки охватили шею художника и немой уткнулся головой в теплую шубу его. Башня над ними кинула в небо первую весть о полуночи. И с первым же ударом ее с мальчика спали одежды и на руках у Антониуса оказалось черное, слегка мохнатое существо с чуть пробивающимися рожками на курчавой головке; оно ловко соскочило на снег и вместе со звоном начало таять и превращаться в туман; с двенадцатым ударом все исчезло и только на крыше собора, несмотря на полное безветрие, закрутился и вскинулся в высь небольшой снежный смерч.

Немой исчез бесследно.

*

Расстроенные Антониус и его невеста наутро решили пойти к своему духовнику и открыть ему, что произошло с

ними за истекшие три дня.

Древний монах, подпоясанный веревкой и с ермолкой на лысине, внимательно выслушал в сводчатой келье их рассказ.

— Дети мои, вы спрашиваете — не согрешили ли вы, войдя в сношения с духом зла?.. — сказал дряхлый мудрец. — А как вы думаете, есть ли на свете тягчайший преступник, в котором не таилось бы искры добра?

— Нет такого!.. — отозвались оба исповедовавшихся.

— Тогда, значит, почему же не иметься ей и у бывшего ангела? Ведь и он создан рукою Творца. Через вас Господь прикоснулся к посланному вам гостю и это прикосновение осветило блуждавшую в потемках душу его. Вы поступили хорошо. Идите же с миром и помолитесь о бедной душе вашего немого!

*

Антониус сделался известным скульптором и дожил с женой до глубокой старости. В память о своем маленьком друге на карнизе и кровлях всех храмов, которые возводились Антониусом, им ставились, среди изображений святых, высеченные из серого камня фигурки чертей, чудовищ и гномов, прислушивающихся к тому, что творится в церквях.

С легкой руки Антониуса такие украшения распространились по всей средневековой Европе и до сих пор на готических соборах и даже внутри их внимательный наблюдатель увидит «нечисть»: ей не молились, но в знак надежды на прощение ее допускали к присутствию при молитвах.

А происходило все вышереченное в лето Господне 1333 и акт о сем подписан господином бургомистром, достойными растгерами и надежнейшими свидетелями и очевидцами. Amen.

СТРАННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

Рассказ

Была затихшая, теплая, ноябрьская ночь.

Я и моя попутчица, пожилая дама, запоздали на последний трамвай и возвращались в город по липовой аллее мимо лютеранских кладбищ. Она терялась в бесконечности и в тумане — черная, пустынная, безлистая; кое-где мутно желтели пятна фонарей, слева, совсем рядом, тянулась сквозная деревянная ограда; за ней среди кустов и деревьев белели бесчисленные кресты и памятники.

Мне почудилось, что я в потустороннем мире: за забором светилось множество огоньков, походивших на болотные.

Я остановился и указал на них своей спутнице.

— Это свечи!.. — пояснила она. — У нас, у лютеран, есть обычай зажигать их в вечерь дня поминовения усопших на могилах близких людей.

— Красивый обычай... — сказал я, не отрывая глаз от россыпи огоньков, мерцавших между крестами и деревьями.

— В Риге много любопытного — и старины и преданий!.. — произнесла она немного погодя. — Как все меняется на свете! Семьдесят лет назад здесь, где мы идем сейчас, залегал густой лес; около него ютилось это кладбище — оно и тогда уже на памяти деда было старинным, а дед мой был пастором на окраине Риги. Мирной улицы не имелось и в помине; ее заменяла немощенная дорога, вся в колдобинах; пустыри под городом были изрыты ямами; вместо нынешней Ревельской улицы тянулся глубокий овраг; через него был устроен деревянный мост. Место это считалось небезопасным и даже нечистым; во дни юности деда здесь случилось одно странное происшествие.

Появилась в Риге какая-то загадочная дама, уже не мо-

лодых лет. Жила она замкнуто, была очень набожна, посещала все церковные службы. Слухи, между тем, ходили о ней темные: люди всегда ведь любят пошептаться насчет ближнего!

Прошло сколько-то лет, дама тяжело заболела и послала за пастором.

Тот застал ее мечущейся по постели.

— Я великая грешница!.. — заявила она. — Дайте мне умереть спокойно — обещайте, что положите мне под голову в гроб евангелие, а в руки дадите вот этот молитвенник!.. — она протянула ему две книги.

Пастор обещал и больная вскоре скончалась. Обещание свое он выполнил, затем наступил день похорон. С выносом тела запоздали и, когда катафалк и немногие провожавшие добрались до кладбища — уже смеркалось.

День стоял осенний, чуть моросил дождь; гроб опустили в могилу, засыпали ее песком и ельником, пастор прочел молитву и все стали расходиться.

Пастор задержался разговором в конторе и, когда вышел за ворота, там стояла всего одна бричка — его собственная.

Он уселся в нее и тронулся в обратный путь. Ехать приходилось шагом, делалось все темнее.

И вдруг работник, правивший лошадей, повернулся к седоку.

— Господин пастор?.. — сказал он со страхом. — Люди какие-то на мосту караулят!

Тот подался вбок и увидал, что впереди, действительно, стоят черные фигуры двух человек; своротить в сторону было некуда и пастор велел ехать дальше.

Незнакомцы были в цилиндрах: их, как вам, конечно, хорошо известно, с давних времен носят в Риге только на похоронах да трубочисты.

Смирная лошадь пастора вдруг забеспокоилась, захрапела и ни за что не хотела идти на мост; один из неизвестных, весь бритый, схватил ее за узду; другой, бородатый, подошел к самой бричке и взялся рукой за ободок облучка. Пастор силился припомнить, кто они, но таких лиц среди провожавших покойницу не было.

— Что вам нужно?.. Отпустите лошадей!.. — воскликнул он.

— Нужен нам ты... — произнес бородатый. — Сейчас ты вернешься на кладбище, вынешь из гроба старухи обе книги и привезешь их сюда!

— Зачем?!.. — с ужасом спросил пастор. — Я не могу этого сделать!

— Тогда завтра умрешь!.. Книги или смерть — выбирай любое!.. И помни: ничто не спасет тебя от нас.

Раздумывать долго не приходилось и взволнованный пастор приказал поворачивать лошадь.

— Вы, конечно, представляете себе, с какими чувствами вышел он из своей повозки у ворот кладбища?

Сторож уже спал, в его избушке было темно; будить его пастор не решился — не хотел мешать в такое страшное дело лишнего человека — и велел своему работнику идти за собой. Тот весь трясся, но все-таки последовал за хозяином.

Пастор осторожно потрогал калитку — к удивлению его, она оказалась отпертой. Чуть похрустывая песком, крадучись, подошел он к двери сторожки, взял стоявшие около нее две лопаты и поспешил дальше.

Спотыкаясь о могильные холмы, напарываясь на ветки деревьев, добрались они до чуть желтевшей, как показалось им, свежей насыпи и оба вдруг остановились: перед ними на поверхности земли стоял закрытый гроб старухи.

Кто ее вытащил из ямы, зачем — ответа не было — кругом не имелось ни души живой. Пастор и кучер сняли крышку; перед ними под белой кисеей лежала покойница.

За оградой кладбища в нескольких местах протяжно завывали собаки.

Пастор, дрожа всем телом, сунул руку под голову мертвой и ледяной холод пронизал его; он вытащил евангелие, потом стал доставать молитвенник, но запутался в саване и сдернул и поволок его со старухи.

Она стала подыматься. Вне себя, крепко притиснув к груди книги, он кинулся бежать; за ним пустился работник. Падая и налетая то на гранитные памятники, то на чугунные статуи, они вынеслись за ворота, вскочили в бричку и лошадь, храпя, понесла их во весь опор.

У моста их ожидали те же двое незнакомцев.

Пастор сунул им книги, те вежливо приподняли цилиндры и бричка помчалась дальше.

Дома пастор едва пришел в себя. Весь остаток ночи он не сомкнул глаз и даже не раздевался, а утром поспешил в город, в ратушу, где и сообщил, что приключилось с ним.

Немедленно на кладбище была отправлена комиссия для осмотра могилы, но никакого гроба на поверхности не оказалось — все находилось в полной исправности.

Сторож, когда его спросили — не закапывал ли он вторично могилу, изумился и сказал, что ничего подобного не делал и не видал, но что почему-то кругом кладбища ночью были необыкновенно многочисленные собаки.

Что это были за люди в цилиндрах, почему им понадобились именно те экземпляры книг, кто вытащил из земли гроб и затем вновь закопал его — так и осталось неузнанным.

Происшествие это вызвало в Риге много толков и ратушный совет постановил занести его в летописи города. Если интересуетесь, то хоть завтра можете прочесть о нем в архиве, в соответственном месте хроники.

*

Туман сгущался, сеялся мельчайшей пылью, свет фонарей сделался еще неяснее. Мирная улица утопала в потьмах.

Я шагал рядом со своей замолчавшей спутницей и словно воочию видел рассказанную ею историю.

Приложения

ВЛАСТЬ ИМЕН

Есть многое на свете, друг Горацио...

Выпуская в свет свою предыдущую работу «Странное. О влиянии имен на судьбу человека», я не предполагал, что она обратит на себя такое внимание, какое выпало на ее долю. Отзывы печати и множество писем, полученных мною от разных людей, свидетельствуют, что в своем мнении о непонятной власти имен я не одинок, и, что еще более ценно, письма эти подтвердили верность моих наблюдений над приведенными в брошюре именами. Некоторые мои корреспонденты идут далее меня; так, один из них пишет: «Мне хочется добавить, что имя часто влияет на здоровье, физическое сложение, характер человека, и я нередко думал, что хорошо бы собрать статистические данные об именах преступников и воспользоваться этим материалом так: не давать новорожденным имен, наиболее часто встречающихся среди преступников». Это, конечно, сказано слишком сильно, но доля истины в приведенных словах есть.

Разум человека подобен слепцу, который ощупывает встреченные им предметы и лишь тогда постигает неведомое, когда все детали его им обследованы.

К числу туманных загадок, на которые натывается разум, относится странное влияние имени на нравственный облик и на судьбу человека. Что такое влияние существует — сомневаться не приходится. Почему существует? На этот вопрос ответа, вероятно, никогда не будет.

Прежде всего я хочу, чтобы меня правильно поняли: цель этой брошюры отнюдь не опровержение каких-либо законов наследственности, и я не желаю видеть единственную причину всех недостатков и бед человека в его имени. Я лишь хочу обратить внимание на некоторые факты, которые трудно объяснить излюбленным у нас словечком

«случайность» и подтверждающие, что каждое имя как бы пробуждает в человеке наиболее свойственные этому имени черты. Вам, конечно, доводилось слышать о том, что есть семьи, в которых носителей какого-либо имени постоянно постигает ранняя смерть или несчастья. Если припомнить судьбы не только окружающих нас живых, но и лиц, ставших достоянием истории, роль имени в жизни человека обрисовывается нагляднее. Главнейший материал для анализа, конечно, лежит в истории и житиях Святых.

Всматриваясь в прошлое, поражаешься однородности характеров и свойств носителей одного и того же имени. Красная нить связывает их друг с другом на протяжении многих веков; неведомое, именуемое судьбой, как бы заготовило для каждого имени печать и налагает ее на людей на всем пути исторической жизни народов. Приведу два примера. Апостол Павел был в обращении грубым, резким и властным человеком и таковы, за редкими исключениями, все его потомки по имени.

Георгий, переименованный так из языческого Игора, до наших дней стойко несет в себе черты убитого древлянами мужа Ольги: жадность, скупость, бездарность и незадачливость.

Буду говорить исключительно о России и при этом коснусь лишь круга писателей, композиторов, актеров и выдающихся военных. Выписав их имена, получим следующую таблицу.

1. Николай:

Новиков, Карамзин, Хмельницкий, Гнедич, Гоголь, Некрасов, Лесков, Костомаров, Чернышевский, Добролюбов, Златовратский, Успенский, Каразин, Михайловский, Леikin, Поздняков, Страхов, Полевой, Языков, Надеждин, Станкевич, Греч, Помяловский, Курочкин, Римский-Корсаков, Рубинштейн, Милославский, Ге, Ярошенко.

2. Александр:

Сумароков, Беницкий, Измайлов, Воейков, Пушкин, Грибоедов, Островский, Дружинин, Марлинский, Полежаев,

Скабичевский, Дельвиг, Левитов, Сумбатов-Южин, Эртель, Шаховский, Суворов, Серов, Даргомыжский, Бородин, Мартынов, Орловский, Иванов.

3. Иван:

Дмитриев, Хемницер, Крылов, Голиков, Долгоруков, Гончаров, Тургенев, Козлов, Аксаков, Никитин, Панаев, Мятлев, Лажечников, Щеглов, Сосницкий, Горбунов, Самарин, Крамской, Шишкин.

4. Василий:

Майков, Капнист, Ушаков, Авсеенко, Авенариус, Величко, Немирович-Данченко, Курочкин, Самойлов, Каратыгин, Андреев-Бурлак, Далматов, Поленов, Верещагин, Суриков, Перов.

5. Константин:

Батюшков, Масальский, Аксаков, Станюкович, Случевский, Фофанов, Головин-Орловский, Скальковский, Бальмонт, Варламов, Флавицкий, Трутовский, Савицкий.

6. Михаил:

Херасков, Ломоносов, Милонов, Лермонтов, Салтыков, Загоскин, Погодин, Глинка, Скобелев, Чернявский, Ипполитов-Иванов, Щепкин, Нестеров.

7. Алексей:

Мерзляков, Кольцов, Плещеев, Жемчужников, Потехин, Луговой, Хомяков, Писемский, Толстой, Максимов, Пешков (Горький), Егоров, Венецианов.

8. Владимир:

Бенедиктов, Соллогуб, Короленко, Немирович-Данченко, Жемчужников, Даль, Соловьев, Стасов, Давыдов, Боровиковский, Маковский, Орловский.

9. Дмитрий:

Фонвизин, Григорович, Писарев, Веневитинов, Аверкиев,

Голицын-Муравлин, Мамин-Сибиряк, Стахеев, Мережковский, Ленский, Левицкий.

10. Петр:

Вяземский, Плетнев, Боборыкин, Быков, Гнедич, Засодимский, Румянцев-Задунайский, Каратыгин, Чайковский.

11. Федор:

Достоевский, Тютчев, Решетников, Глинка, Шаляпин, Кокошкин (драм. артист), Толстой.

12. Павел:

Мочалов, Васильев, Катенин, Свободин, Федотов.

13. Виктор:

Клюшников, Буренин, Васнецов.

14. Сергей:

Аксаков, Максимов, Соловьев, Васильев.

15. Григорий:

Данилевский, Мачтет, Лишин.

16. Модест:

Чайковский, Мусоргский, Писарев.

17. Всеволод:

Гаршин, Крестовский.

18. Аполлон:

Майков, Григорьев, Коринфский.

19. Юрий:

Неледенский-Мелецкий, Самарин.

20. Евгений:

Салиас, Гребенка.

21. Лев:
Толстой, Мей.

Как мы видим, на первом месте по количеству выдающихся людей стоит Николай, на втором — Александр, на третьем — Иван, на четвертом — Василий, на пятом — Константин, на шестом — Михаил, на седьмом — Владимир, Алексей и Дмитрий, на восьмом — Петр, на девятом — Федор, на десятом — Павел, на одиннадцатом — Виктор и Сергей, на двенадцатом — Григорий, Модест, Всеволод, Аполлон и на тринадцатом — Юрий, Евгений и Лев. Лица, носящие имена, которые встречаются по одному разу (Виссарион и др.), мною опущены.

Если просмотрим эту таблицу и сосчитаем имена великих людей, то окажется, что на первое место передвинется имя Александр (Пушкин, Грибоедов, Островский, Даргомыжский, Суворов), повторяющиеся пять раз, второе займут Иван (Гончаров, Тургенев) и на третьем окажутся Николай, Федор и Лев, выпавшие по одному разу. Несомненно, на Руси более, чем Александр, распространены имена Иван, Дмитрий и др., тем не менее среда Александров превзошла их по количеству великих людей, и привилегия на «великость» как бы дана природой носителям этого имени.

Любопытен другой факт: Серге́и не выдвинули из своей среды ни одного великого человека, но чаще, чем все другие, являются отцами великих людей: укажу на Пушкина, Грибоедова, Тургенева, Даргомыжского. Следует упомянуть Аксакова и Соловьева — отцов целой плеяды талантливых лиц. Количество мужских имен в святцах — семьсот девяносто три. Если три четверти их считать совершенно не употребляемыми, то нельзя не обратить внимание на остальные весьма часто встречающиеся в жизни имена — Андрея, Бориса, Евграфа, Якова, Степана, Платона, Ипполита, Кузьмы, Никиты, Леонида, Максима, Марка, Романа, Матвея и др, которые упорно стоят в тени у судьбы и редкие из которых дали всего по одному сколько-нибудь значительному лицу.

Имя не только как бы предрекает человеку выдающееся или теневое положение в жизни, но до некоторой степени очерчивает заранее его характер.

Александры почти сплошь весельчаки, то, что мы зовем — душа-человек и бесшабашные головы. Петры в большинстве своем — люди с тяжелым характером, тугодумы и упрямцы. Еще тяжелее их Степаны — не любящие препятствий их нраву; Владимиры и Михайлы просты, добродушны и бесхарактерны, но первые настойчивее и упрямее. Бесхарактерны, но действенны, себе на уме и расчетливы большинство Алексеев; вралей всегда больше среди Дмитриев, Николаев и Василиев. Дмитриии слегка фанфароны; Константины — неудачники. Они резче, язвительнее и неприятнее других по характеру. Иваны и Глебы женственны, Анатолии чаще всего красивы и почти всегда пусты и фатоваты.

Между Петрами совершенно отсутствуют выдающиеся художники и крупные литераторы, так как фантазии они лишены совершенно. Павлы бесталанны и выдвигаются только как актеры. Среди них нет ни писателей, ни композиторов. Вечно ищущие и чуткие души у Федоров. Викторы завистливы и в большей или меньшей степени неприятны.

Властно кладя на человека тот или иной отпечаток, имя тяготеет и над его судьбой. Кто, например, знает счастливого Бориса? Имя это — символ несчастий, тяжелой жизни и зачастую сумасшествия. Только два Бориса отмечены историей, и судьба обоих подтверждает сказанное. Один из них — князь, зарезанный Святополком, другой — Годунов, несмотря на замечательный ум свой — несчастнейший из русских царей.

Мягкость, душевные надрывы и недобрую судьбу несет имя Глеба. Мрачны и суровы дни Павлов, тоже зачастую недобро кончающих жизнь свою. Значительный процент сумасшествий падает на это имя и на Константина.

Перейду теперь к именам женским. История, главный источник, откуда я черпал свои выводы, довольно редко говорит о женщинах. Почти не выступают они на общест-

венных поприщах. Таким образом, в женском царстве пока приходится ограничиваться исключительно личными наблюдениями. Да помнит прекрасный пол, что нет правил без исключений, и да не обидится на меня за мои... наблюдения!

А они таковы. Положительные женщины, бережливые, но довольно скрытные и часто с тяжелым характером — Александры.

Анны весьма вспыльчивы и нередко грубы. Браки с ними в большинстве неудачны. Скуповаты.

Основные черты Антонины — веселость и легкомыслие. Часто безрассудны.

Валентина — это Анатолий в юбке; почти всегда хорошенькая, кокетливая, пустая, характер у нее взбалмошный, имеет тягу к искусству.

Веры — содержательны, вдумчивы, редко открывают тайну души для других; добры, думают о близких больше, чем о себе, доверчивы, и потому удары судьбы чаще обрушиваются на них.

Елизавета — имя приживалок и людей, вечно находящихся в тени и на вторых ролях. В браке несчастны.

Лидия — семьянинка и хозяйка. Всегда добрая, вспыльчивая, нередко завистливая.

Людмила — определенно резка, редко счастлива. Скупа.

Наталья — добра, но эгоистична, весьма вспыльчива и ограничена. Редко встречаются между ними счастливые.

Ольга — вероломна и бесталанна; любит посплетничать, часто зла и мстительна. Имя, наиболее часто встречающееся среди интеллигентных преступниц и «роковых» женщин.

Прасковья — добра, глупа и вспыльчива. Стоит на одном из первых мест по плодовитости.

Ксения — определена и положительна, хозяйственна и расчетлива.

Не глубока веселая и многоречивая кокетка и неудачница Клавдия.

Надежда — имя страдательное. Счастливая Надежда — такая же редкость, как и Борис среди мужчин.

Зинаида — ищущая неведомое ей самой, мятущаяся и всегда неудовлетворенная душа. Она живет более умом, чем сердцем. Жизнь ее редко бывает без излома. Талантлива.

Любовь — ограничена, мелочна и скуповата, вспылчива.

Таков рок, тяготеющий над людьми в виде имен. Влияние имени замечается и на неодушевленных предметах.

Погибший в войну крейсер «Паллада» носил имя, уже отмеченное несчастьями. В нашем флоте преспокойно плавают по океанам множество пароходов всяких наименований, и только суда, носящие имя Костромы, гибнут один за другим. На моей памяти крушений «Костромы» было три.

Все вышесказанное — область странного... Делать какие бы то ни было выводы я воздержусь.

ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ ОСЕННЕЙ НЕПОГОДЫ

(«Мистические вечера» С. Р. Минцлова)

С. Р. Минцлов не знает, что такое скука. Скучают горожане и те деревенские жители, которые не видят прелестей окружающего их бытия. Горожанину скучно в городе потому, что он утратил связь с прошлым и потерял чутье потустороннего, которое развивает близость к природе: в безмолвии темной бездны зеркал помещичьего дома он погружается в мир ощущений; в высоком кресле у окна видит давно умершую бабушку; в зале с хрустальными сталактидами люстр слышит далекую музыку и видит силуэты румяных и бледных лиц; начинает работать память, факелами вспыхнут забытые события, перед взором скучающего встанет полоса видений прошлого.

В такие «скучные» деревенские вечера С. Р. Минцлов не скучал. Он превратил эти скучные вечера в вечера мистические, организовал «общество любителей осенней непогоды», члены которого съезжались друг к другу и проводили вечера в рассказах о случаях и эпизодах из «потустороннего, мистического мира».

Неудивительно, что именно Минцлов с живым интересом отдается рассказам о воспоминаниях о прошлых незаурядных, не поддающихся рамкам трех измерений случаях. Жизнь Минцлова, ясная в своем настоящем, понятна в истоках прошлого. Этот момент в характеристике писателя особенно подчеркивает в открывающем книгу биографическом очерке Петр Пильский.

Истоки прошлого положили сильный отпечаток на нынешнего представителя старого не только дворянского, но и т. с. литературно-научного рода Минцловых. Любовь к старине и археологии, благоговейная влюбленность в кни-

гу, это живое и никогда не умирающее свидетельство прошлого и, наконец, мистика — три начала, характеризующие писателя, всегда интересные и живые очерки которого нередко появляются на столбцах «Сегодня».

«Мистические вечера» — дань третьему из этих начал. Читаешь один такой мистический очерк за другим, узнаешь о различных рассказываемых простым, здоровым русским языком эпизодах, по-видимому, являющихся не выдумкой автора, а необычными фактами, врезавшимися в его долгую память, и начинаешь вместе с Минцловым думать, что действительно прав утверждающий, что на свете есть вещи, которые не снились нашим мудрецам... Они не снились мудрецам, но они встречаются наяву в жизни, вероятно, каждого; но не каждый реагирует на них с тем интересом и вниманием, с каким это делает Минцлов.

В длинной серии этих мистических рассказов есть любопытный очерк, озаглавленный «Мистика имен». Существует какая-то улавливаемая только нашим подсознанием странная связь между именем, нравственным обликом и судьбой его носителя. Есть имена счастливые и несчастные, и в средние века даже перекрещивали и давали другие имена беспокойным детям: считалось, что имя каждому может прийти не в пору, как платье. Интересно, что такое поверье распространяется не только на людей, но и на животных и на предметы неодушевленные. Автор указывает на пример «Паллады»: история кораблей этого имени в российском флоте полна всякими несчастьями.

Каждое имя имеет, так сказать, свою судьбу. Любопытно историческое исследование автора, который взял за XIX и начало XX века всех русских писателей и художников, композиторов, артистов и выдающихся военных и сделал выводы, подтверждающие его теорию «мистики имен». Не одного читателя этот опыт заставит, вероятно, порыться в исторических памятниках и святцах, чтобы продолжить своеобразные исследования С. Р. Минцлова.

Вторая часть книги, собственно говоря, непосредственно с «мистическими вечерами» не связанная, содержит серию очерков Литвы, читающихся с таким же интересом,

как и первая половина книги. С. Р. Минцлов любит и сочувствует Литве, увлекается литовской древностью — объяснение этому в том же прошлом рода Минцловых, которое вообще оказало такое сильное влияние на С. Р.: еще в преданиях о Грюневальденской битве, в списках старинной летописи упоминается о том, что двое Минцловых легли на поле битвы защитниками своей родины. В литовских очерках Минцлова живой рассказ о его встречах во время поездки по стране его родичей, соединенный с любопытными фактическими и легендарными повествованиями о событиях прошлого тех мест, где пришлось теперь побывать автору.

Книге предпослан критико-биографический очерк Петра Пильского. Автор дает исчерпывающую характеристику С. Р. Минцлова, прекрасно изображает его своеобразную фигуру, знакомит с галереей его незаурядных предков и раскрывает тайну того благоволения перед вечным, единства, нерасколотости, верности, силы, литературности, привлекательности, которыми так умело владеет Минцлов и которые, в свою очередь, целиком владеют им.

СЕРГЕЙ РУДОЛЬФОВИЧ МИНЦЛОВ

40-летие литературной деятельности

Почиют в заповедной тишине Святые озера, синеватой митрой встают на холмах мачтовые леса, равнинная Русь расстилается в своей красоте и убожестве, выются, сливаясь и расплзаясь, колеи разъезженных, бесконечных дорог, зажигаются золотым и розовым светом степные утра, огневеют вечерние закаты, мечтательно шепчутся сады и рощи, тяжкие, темные ночи мертво спускаются на бескрайнюю землю, выбросившую треугольниками дырявые хатенки, и вдруг среди них, окружившись дубами, сиренью и яблонями, забелеет чудесный помещичий дом; опочивальня старозаветных преданий и львы на воротах тоже спят усталым сном, лениво тяжелея своей посеревшей массой, сторожа вход в узорные ворота, — неоглядная Русь, забывшая себя, не знающая цены ни себе, ни своим богатствам, как эти усадьбы забыли и не ведают старинных чудес, накопленных веками, — брошенных, пожелтевших, сгнивающих книг, прадедовской искусной мебели, расшитых золотом кафтанов, — величавых свидетелей отзвучавших лет, — обольщения, радость и скорбь Минцлова.

Эту Русь он знает и чувствует, подготовленный к ее восприятию рядом культурных усадебных поколений, — земель пахнет от Минцлова, землей и бытом, вызревающим в его душе наследственно, в течение целого века, передававшего от отцов детям драгоценные навыки почтительного уважения к прошлому, накопления культурных богатств в шкафах и душах.

Старина, быт, книги, — вот настоящая и большая любовь этого писателя, и по этим страницам разостлалась картина российского неряшества, безотцовства и духовной

цыганщины.

Среди этого поникшего, оскудевшего мира одичавшего барства Минцлов проходит в своей зоркой наблюдательности внутренне разгневанным свидетелем поругания его святынь. Но гнев сдержан. Тому, кто умеет думать и понимать, дарован талант прощения, и Минцлов умеет хранить в своих оценках и рисунке спокойную объективность, и только изредка вдруг проскользнет нота рассерженности и негодования.

Самый коварный и неверный упрек Минцлову-беллетристу мог быть брошен за его кажущееся пристрастие к темным сторонам усадебной, помещичьей жизни. Нет, тон его книг добр, его улыбки не оскорбительны, лица нигде не изуродованы шаржем. Его герои — деспоты, но и мечтатели, черствые дельцы, но и нежные мистики, бесхозяйственные люди, но и широкие натуры: надорванные души, но и здоровяки.

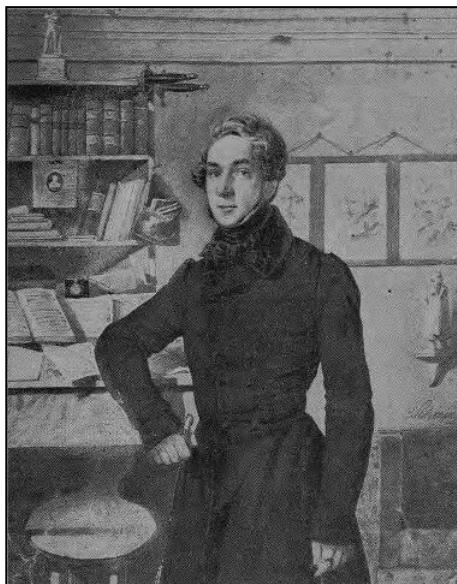
Как-то я уже писал о том, что в героях Минцлова, в его усадебных типах без труда угадываются два сорта: это — коренники и пришельцы. Тут очень любопытно проследить череду смен, соседство трагически-грустных Каменевых, глупо-надутно-чванных уродов Чижиковых, просмотреть эту пеструю галерею чудаков, хитрецов, идеалистов, — соседство доброты и безалаберщины, гостеприимства и удалства, — укрытых российским безветрием, утрачивающих запахи корневистых преемственных укладов.

Эти типы и картины глядят на нас со страниц и «Святых озер», из глав повести «За мертвыми душами», из «Снов земли», — обширных панорам развинченного помещичьего быта.

По этим оброшенным усадьбам Минцлов проходит в смертельном, хотя и спокойном одиночестве, со скорбным недоумением культурного человека, пораженного неумением, беззаботностью и неряшеством.

Тут мы приближаемся к одному из определений Минцлова. Он, — прежде всего, созидатель. В нем живет напористая энергия. Это — человек, созданный для реальных дел и свершений. Минцлов — строитель, воспитанный в

этом инстинкте последовательно и наследственно. Сейчас исполняется не только 40-летие его литературной деятельности, — этим месяцем отмечается еще и столетие, целый век трудов и дел всей семьи Минцловых, его предков, — деда, Карла-Рудольфа Минцлова, его бабушки Эрнестины Минцловой.



*Карл Минцлов.
Портрет, рисованный им самим*

И дед и бабка вписали свои имена в историю переводной русской литературы, впервые ознакомив иностранцев с Пушкиным, Лермонтовым, Гоголем, Григоровичем, потому что Эрнестина Минцлова, сама француженка, рожденная де Галле, передала двух великих русских поэтов на французском языке, а ее муж познакомил с русской прозой и с поэзией Пушкина немцев, и он же написал ряд исторических исследований (в том числе о смутном времени). — напечатанных на французском, немецком и русском язы-

ках. Им же была создана знаменитая «Средневековая келья» в Публичной библиотеке, оставлено много трудов по истории русской библиографии, а среди них обширная работа — «Петр Великий в иностранной литературе».

И та же потребность работать, создавать, творить выдвинула и их детей, тоже авторов, и перу Рудольфа Минцлова, отца нашего писателя, принадлежат ценные юридические книги, — «Особенности класса преступников», «Политический процесс Второй империи», «Задачи тюремного ведомства».



Рудольф Карлович Минцлов

Но — особенно характерно: Рудольф Минцлов оставил после себя и еще одну работу, — о первоначальных записях имений в вотчинной книге, будто предрекая этим будущий интерес своего сына, отдавшего страстное внимание и свои беллетристические наблюдения тоже помещикам, тоже именьям, усадебной старине. Так растут предания, так власт-

ствуют заветы, передается кровь, переходят влечения, отцы благословляют детей иконами, пред которыми молились сами.

Что ж удивительного в том, что С. Р. Минцлов может иногда пламенеть гневом на разрушителей того, что не ими строено, не их руками сделано, чудесно выращено гением былых лет и дней? Вот почему во всех своих книгах Минцлов кажется отделенным от остальных, размиренным со средой, наблюдателем, но не участником, не близким другом и единомышленником, а сторонним человеком.

В одиночестве он путешествует, в одиночестве копается в драгоценной рухляди, в одиночестве всходит на чердаки, заглядывает в чуланы и подвалы, в одиночестве разбирает книги, одинокий в разваливающихся гостиных, одинокий даже тогда, когда едет вдвоем, потому что этот второй для него только гид и случайный спутник.

Но иногда его глаза загораются ласковым светом, пристально всматриваются в человека, душа роднится с чужой душой, — с одним-единственным ее типом, — мистиками, мечтателями, несущими в себе тревожную веру в таинственные силы, управляющие нашей жизнью и судьбой.

И из всех героев Минцлова ему ближе и дороже рядный и некрасивый Каменев с глазами мягкими и задумчивыми, — живое свидетельство талантливости, — близок потому, что в его доме «подлинное прошлое», таежная старина, и просыпаются воспоминания об утонченном Берене, прихотливом Буле, светлых грезах Буше и Ватто, смелых и изящных Фальконе и Клодионе, о серебряных химерах Жермена, о всем том, что сразу переносит «в грот из белых снегов, из синего льда, из золотистых лучей солнца».

Но этого мало.

Сильнейшая притягательность Каменева для Минцлова все-таки не в этом, и даже не в артистической игре Каменева на клавишинах, а в другом; — Минцлова покоряет и здесь вера в таинственность, и грозная и тихая убежденность звучит в спокойном голосе Каменева, когда он утверждает, что в предметах живет душа, что «мебель говорит», что этот язык можно расслышать и разгадать, что из вещей

«истекает как бы шелест, какие-то воздушные волны», что этого не знают только по неумению разгадать «язык тишины», что существуют «вещи злые и вещи добрые», что «предки были правы, когда верили в колдовство», что в мире «чудо есть и оно естественно», что в этом доме есть «комната зла и смерти».

Надь Минцловым властны мистические притяжения, и недаром некоторые его книги носят такие названия, как «Чернокнижник», «То, чего мы не знаем», а его герои живут убежденные в существовании незримой и нездешней силы, мистической души природы, в предчувствии бед и несчастий, в знании примет, по которым «перед землетрясением реки и деревья шумят по-особенному», и «земля всегда шлет свои предостерегающие радио человеку», и в мире существует «потусторонняя власть», живут «невидимые существа», слышатся «тысячи звуков», проходят «сцены из жизни других планет», и все «горе, радость, страдания — все чувства и порывы людей превращаются в алмазы и рубины» («Кресло Торквемады», «Бред», «Чернокнижник»).

Мне приходилось уже отмечать двойственность литературного и психологического лика Минцлова, — его реализм и мистицизм, это острое чувствование быта, его корней, духа, запахов, близость к земле и с землей, но тут же, — рядом с этим, — и глубокую, хотя и не часто выражаемую подверженность и подчиненность Минцлова мистическому началу, его веру в таинственное, в несказанное и неразгаданное.

Быть может, отсюда растут и его страстные увлечения археологией, — курганами, орудиями схороненных эпох, их молчаливым наследием, хранящимся в могилах дальних предков, и загадочная старина для него драгоценна и притягательна, как ключ, открывающий входы в молчаливый мир живых и владычествующих тайн: Минцлов- археолог — только следствие и вывод, — за ним стоит мистик.

Но, конечно, беллетрист Минцлов все-таки силен не здесь, не в своих мистических откровениях, а в бытописательстве, в своих широких полотнах, в картинах, полных по-

вседневных, бытовых штрихов и отметин, в своем литературном типизме, в своем крупном, бесстарательном, отличном русском языке, в своем знании исторических укладов, в своем чужае исконного, в своем истовом повествовании, в зорком постигании духа древней Руси, слежавшегося быта, во всем своем стиле без лукавства и вычур, в характерном писательском облике — его ясности, простоте и силе.

Крепкие этими достоинствами, влекут к себе внимание, будя интерес и ни на минуту его не ослабляя, таежная побывалыщина «Царь Берендей», только что переведенная на шведский язык, обширные очерки «За мертвыми душами», роман-хроника «Сны земли», и роман «Закат», и «В грозу», как и «Лесная быль», и «Святые озера», «Гусарский монастырь» и другой исторический роман «Под шум дубов», — десятки его книг, — беллетристика, дневники и воспоминания.

Но, кроме Минцлова-беллетриста, есть еще Минцлов-исследователь, Минцлов-ученый, участник научных обществ, действительный член Императорского Русского Археологического О-ва, Императорского Русского Географического О-ва, Императорского О-ва Ревнителей Истории, русского Библиографического Общества, Петроградской, Нижегородской и Черниговской Ученых Архивных Комиссий, исследователь Урянхайского края, автор полновесной книги «Секретное поручение», как и многих статей и работ по вопросам истории и археологии.

А среди всего этого огромного литературного богатства, в обширной библиотеке трудов Минцлова есть работа, которой суждено пережить и самого автора и, может быть, все его остальные сочинения, — бесценная книга — «Обзор записок, дневников, воспоминаний, писем и путешествий, относящихся к истории России и напечатанных на русском языке», — книга, признанная настольной для всякого историка, писателя, учителя и учащегося, о которой В. В. Розанов писал, как о справочнике «первой необходимости», где каждый «отыщет разум и смысл изданий Петровского и Елизаветинского времени», и мечтал о том впечатлении,

которое произвел бы этот труд за границей, — в Германии, Англии или Франции.

— Есть что-то теплое, особенно в русской археологии, — замечает Розанов, — в русских древностях, рукописях, в книгах, в библиографии...

Этот шепот веков всероссийского кладбища, точно «с плакучими ивами» над собою — вовлекает и уводит в тени свои, в доброту свою и ясность, в «вечерний свет» самого легкомысленного и непокорливого.

Примечания

Все включенные в книгу произведения (за исключением оговоренных ниже случаев) публикуются по первоизданиям с исправлением очевидных опечаток и ряда устаревших особенностей орфографии. В оформлении обложки использован рисунок М. Пертса.

То, чего мы не знаем...

В данном разделе книги полностью воспроизведен один из наиболее цельных сборников рассказов С. Р. Минцлова – «То, чего мы не знаем...» (София: Зарницы, 1926?). Включенные в сборник рассказы создавались в разные годы: некоторые из них ранее публиковались в периодике, как напр. «Тайна стен» (*Аргус*, 1915, № 2), «Атлантида» (*Либавское русское слово*, 1925, № 177-178). Текст публикуется по первоизданию. На с. 61 – иллюстрация из оригинального издания.

Из книги «Мистические вечера»

Цикл «Мистические вечера» был впервые полностью опубликован в авторском сборнике «Мистические вечера (Записки любителей осенней непогоды)» (Рига, 1930). История о браслете панны Ядвиги – также как рассказ «Браслет» (*Сегодня*, 1929, № 357, 25 декабря). Извлечения из книги даны по републикации (*Смена*, 1997, № 8 (1594), август).

На с. 63 – обл. книги «Мистические вечера» работы М. Пертса.

Рижские легенды

Цикл «Рижские легенды», состоящий из четырех небольших рассказов, вошел в сборник Минцлова «У камелька (Моя молодость). Годы офицерства» (Рига: Изд. автора, 1933). Все рассказы

цикла ранее печатались в газете «Сегодня» (Рига). Тексты даны в порядке следования в книге по первым публикациям:

Приключение с музыкантом (*Сегодня*, 1930, № 356, 25 декабря, под заг. «Рижские легенды». Название дано по книжной публикации).

Буря (*Сегодня*, 1932, № 294, 23 октября).

Ночная служба (*Сегодня*, 1932, № 121, 1 мая).

Черт в Риге (*Сегодня*, 1933, № 64,65, 5 марта, 6 марта)

К циклу в нашей публикации прибавлен, как примыкающий по тематике, рассказ «Странное происшествие» (*Сегодня*, 1930, № 324, 23 ноября).

Власть имен

Печатается по сетевой публикации: http://www.icqfoto.ru/name/mystery-1_2.htm.

Б. Оречкин. Общество любителей осенней непогоды

Впервые: *Сегодня*, 1931, № 20, 20 января, за подписью «Бор. Ор.». Текст дан по первой публикации.

Борис Семенович Оречкин (188-1943) – журналист, уроженец Харькова. Работал в «Петербургском курьере» и др. петербургских и московских газетах, писал в «Русском слове», заведовал хроникой в «Русской молве» и информационным отделом утреннего выпуска «Биржевых ведомостей». После революции сотрудничал в газетах Киева и Одессы. В начале 1920 г. эмигрировал, редактировал в Берлине журн. «Русский эмигрант» (1920-1921), совместно с Лери (В. Клюпотовским) – «Наш журнал», писал для газ. «Руль» (Берлин), «Последние новости» (Париж) и др. В 1924-25 гг. редактор иллюстрированного еженедельника «Русское эхо». С 1926 г. в Риге; вошел в редколлегию газеты «Сегодня», отвечал за вопросы внешней политики и парламентскую хронику. В 1925-1940 гг. собственный корреспондент «Сегодня» в Литве. В 1943 г. расстрелян в еврейском гетто в Каунасе.

П. Пильский. Сергей Рудольфович Минцлов

Впервые: *Сегодня*, 1928, № 114, 29 апреля. Текст дан по первой публикации. Портрет Минцлова из этой статьи воспроизведен нами в качестве фронтисписа.

Петр Мосевич Пильский (1879-1941) – журналист, прозаик, литературный и театральный критик. Учился в Александровском военном училище, где познакомился с А. Куприным. С 1901 г. печатался в многочисленных петербургских, киевских, одесских, харьковских газетах и журналах. Во время Первой мировой войны капитан артиллерии, был дважды ранен. В 1917 г. редактор (совместно с Куприным) газ. «Свободная Россия» (Петроград). В 1918 г. основатель и директор Первой Всероссийской школы журнализма. После ряда острых антибольшевистских фельетонов был отдан под революционный трибунал, бежал на юг, в 1921 г. через Бессарабию прибыл с румынским паспортом в Эстонию, сотрудничал в газ. «Последние известия» (Ревель) и «Сегодня» (Рига). С 1926 г. в Риге, ведущий литературного отдела газеты «Сегодня». Незадолго до советской оккупации Латвии пережил инсульт, после проведенного сотрудниками НКВД обыска и изъятия архива был фактически парализован. Скончался в своей квартире после начала немецкой оккупации Латвии. При жизни были опубликованы кн. «Роман с театром», «Затуманившийся мир» (1929), роман «Тайна и кровь» (под псевд. П. Хрущов) и др.

Оглавление

ТО, ЧЕГО МЫ НЕ ЗНАЕМ

Атлантида	7
Последние боги	16
Тайна стен	28
Кольцо царя Митридата	42
Вечная слава	59

ИЗ КНИГИ «МИСТИЧЕСКИЕ ВЕЧЕРА»

Мистические вечера	64
--------------------	----

РИЖСКИЕ ЛЕГЕНДЫ

Приключение с музыкантом	96
Буря	101
Ночная служба	107
Черт в Риге	113
Странное происшествие	123

ПРИЛОЖЕНИЯ

Власть имен	128
<i>Б. Оречкин.</i> Общество любителей осенней непогоды	136
<i>П. Пильский.</i> Сергей Рудольфович Минцлов	139
П р и м е ч а н и я	147

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.